

КР
КЕ 60

Г. Муцельноб

арабская
стихотворка

КР2

Е60

747613

Ф. Вильямов
Арабский
стенка

747613



УФЛ

431

153

Гире?

01-13

ЖК

9017/xi 88

КЕМЕРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



Г. Мельников
арабская
сунка

Нашим друзьям
С любовью
от автора - с любовью и дружбой

ПОВЕСТИ

14-11 1955

J. B. M. A.

747613

Центральная
библиотека
Свердловского
г. Ново

Кемеровское
книжное издательство
1983

ББК 84.3Р7
Р₂
Е 60

Художник Б. В. Тржемецкий

Емельянов Г. А.

Е 60 **Арабская стенка: повесть.** Кемерово: Кн. изд-во, 1983,— 176 с.

В пер.: 65 к., 30000 экз.

Двенадцатая книга сибирского писателя — сатирическая повесть о современном обывателе, который все свои способности, все помыслы посвятил ничемной цели — приобретению дефицитных вещей.

70302—18
Е М 145 03 —83 19—83—4 702010200

ББК 84.3Р7
Р₂

Геннадий Арсентьевич Емельянов

Арабская стенка

Повесть

Редактор Т. Махалова. Художественный редактор В. Кравчук.
Технический редактор Г. Манохина. Корректор Е. Тимощук.

ИБ № 711

Сдано в набор 20.10.82. Подписано к печати 21.07.83. ОП 03765. Формат 70×108/32.
Бумага типографская № 8. Гарнитура Журнальная рубленая. Печать высокая.
Усл. печ. л. 7,7. Усл. кр.-отт. 9,27. Уч.-изд. л. 8,28. Тираж 30 000. Заказ № К-173.
Цена 65 коп. Кемеровское книжное издательство, 650059, г. Кемерово, ул. Ногордская, 5. Иркутская областная типография № 1, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 11.

© Кемеровское книжное издательство, 1983



Аким Бублик четко засек, что Шурочка вертится перед зеркалом уже полчаса и будет вертеться еще столько же — проверено. Аким отметил еще, что жена стала вроде бы меньше ростом и намного шире во всех частях тела. Он хотел сказать ей: ты, мол, напоминаешь камбалу. Хотел сказать, но сдержался — из дипломатических соображений. Почему-то вспомнилось, как в детстве мать попрекала его утром перед школой: «Собираешься, язви ты, как вор на ярманку!». «Надо будет спросить у матери, — подумал Аким, закуривая длинную сигарету. — Почему вор и почему на ярманку? Вору, наверное, совсем просто собраться».

Шурочка в зеркале видела мужа, догадывалась, конечно, о том, как ему тошно, но и знала: сегодня он все стерпит. Она уже не впервые заметила: тугие когда-то щеки Акима опадают книзу и лицо его, особо когда носит серди-

тое выражение, напоминает морду соседского боксера по кличке Анчар, которого водят на цепи, издающей кандалный звон; кобель, взбираясь по лестнице, сопит с такой громкостью и надсадой, будто таскает на себе рояль. Шурочка вздохнула, и могучие ее груди качнулись, будто церковные колокола. Она собиралась было загоревать о невозвратности былого («года идут!»), однако предвкушение светского вечера впереди не дало грусти разбежаться. Шурочка еще раз внимательно оглядела мужа через зеркало и нашла, что он вполне ничего.

— Газету свежую принесли, видел?

— Ты шевелись!

Шурочка не ответила, потому что, округлив рот, с выражением мучительным и сладким, мазала губы помадой. Аким взял газету и начал читать с объявлений, он всегда так читал.

Наступила тишина, лишь нехорошо скрипели туфли Шурочки, слышно было еще, как по улице идут автобусы. Через окно кухни виделись густые и безлистные ветлы тополей. На дворе стоял март, весна подступала с робостью, снег лишь начинал подтаивать, местами обнажился черный асфальт.

— Какой-то Мурлыкин помер, учитель?

Шурочка не знала учителя Мурлыкина, и Аким был по этому поводу несколько удивлен, поскольку в ее голове размещались по алфавиту сотни фамилий, как в телефонной книге.

— Сорок лет на педагогической работе...— подсказал Аким, ерзая в кресле.

Шурочка нервно передернула плечами: отстань!

— Тут сдохнешь, сроду не напишут!— осерчал вроде без причины Аким и бросил газету на пол.

— Почему это не напишут!— откликнулась жена невнятно, будто ела горячую кашу, и тяжело переступила,

вздыхнув.— Когда у нас Кудреватых скончался, так я сама некролог в газету таскала. Восемь рублей, что ли, взяли...

— Так то — Кудреватых!

— А что — Кудреватых?

— У него все дефицит по благу брали!

— Причем тут дефицит? Восемь рублей, отношение профсоюзной организации с печатью и текст соболезнования. Сама таскала. Восемь рублей, что ли, взяли? Или сорок? Не помню. Что, твой трест шестнадцать рублей пожалеет? Или сорок? Деньги-то казенные.

Аким Бублик сосредоточенно уставился в угол, чтобы прикинуть с возможной объективностью: выложит трест на соболезнование рубли или, значит, не выложит? Но проблему эту решить не удалось, потому что вдруг ярко и с жуткими подробностями Аким увидел собственные похороны: лежал он в лаковых туфлях носками врозь, и руки на груди были перевиты белой тряпочкой, чтобы не распадались, волосы почему-то были в мелком пуху от подушки.

Бублик тычком прижал сигарету в пепельнице, пожегся и заорал вдруг, наливаясь жаркой краснотой:

— Сколько можно ждать!

Шурочка медленно оборотила от зеркала симпатичное свое личико, цветное, как на слайде, и сплющила губы:

— Я ведь могу и дома остаться, я детей уже неделю не видела, они неделю уже у свекрови, а мы все по гостям блудим. Чего орешь?

— Сколько можно перед зеркалом-то вертеться?

— Сколько надо, столько и буду вертеться.

— И так красивая вполне,— смягчил тон Аким Никифорович, опасаясь забастовки.

— Тогда и заткнись,— ровным голосом, вразяжку произнесла Шурочка и стала наводить под глазами зеленые тени.

Бублики были приглашены на день рождения в дом управляющего трестом Гражданстрой Феофана Ивановича Быкова, которому исполнялось сорок девять лет. Вернее сказать, приглашена была Шурочка, по телефону, звонила жена управляющего Наталья Кирилловна:

— Приходи, лапочка! Народу много не зовем, все свои будут.

Наталья Кирилловна не упомянула про Акима, но он подразумевался как неизбежное приложение. У Шурочки с Натальей Кирилловной была дружба, нелогичная, надо отметить — жена управляющего носила звание кандидата наук по филологической части, Шурочка же работала в магазине, — но тем не менее достаточно прочная. Аким Никифорович Бублик состоял в штате того же треста, что и Быков, вот уже пятнадцать лет, но Быков до сих пор при встречах в коридорах треста, устланных горбатым линолеумом, о который все спотыкались, останавливаясь, долго водил пшеничного цвета бровями, кашлял в кулак и здоровался с Бубликом за руку, отличая от иных прочих. Это значило, что большой начальник опять запамятовал, как зовут подчиненного и как его фамилия. Быков не раз попадал впросак, называя Акима Никифоровича товарищем Колобковым. Такое прозвище Бублик получил давно, когда был еще молодым, румяноликим, бойким и с определенной перспективой на карьеру по общественной линии, но карьера застопорилась после вот такого случая. Однажды в городе собралось всесоюзное совещание по поводу гражданского строительства, и Аким Никифоровичу Бублику было доверено приветствовать высоких гостей от лица нового поколения специалистов, призванных взять эстафетную палочку из рук корифеев и нести ее дальше с достоинством и честью. Аким нашел отдаленно знакомого журналиста и попросил придать тексту выпренность и задушевность, как было велено. За бутылку коньяка газетчик написал речь развязно и несколько даже слезно. И все исполнялось поначалу лад-

но. Бублик взобрался на трибуну, большую, как киоск, отпил минеральной воды из бутылки, подергал узелок галстука, начал читать бумажку вполне внятно и с выражением. Читал он легко, пока не попалось по тексту слово «симпозиум». Сперва он сказал «силпозим», сразу поправился на «сулпозим», дальше покатило — «спозим», «супозим» и так далее. Проклятущее слово во рту будто рыба кость, и не выпихивалось. Краем глаза Аким Бублик уловил, что дальше шли не менее головоломные слова и выражения, газетчик был из интеллектуалов с университетским образованием и понатыкал, стервец, местами даже латынь. Аким понял, что дальше будет еще хуже, и замлел, вцепившись в трибуну, даже закрыл глаза, ощущая всем телом, будто летит с крыши как во сне. Укорил себя мимоходом, что не удосужился произвести приятеля изучить дома, оставил это дело, как всегда, на самый послед. Из зала послышались смешки и даже аплодисменты, подбадривающие побелевшего парня, громкоголосый замминистра подал даже реплику из-за стола президиума: крой, дескать, деревня близка! Но реплики такого рода были уже без пользы, и это вскоре поняли все: Аким Бублик, словно замороженный колдовским способом, стоял свечой и мычал, поводя головой сперва по часовой стрелке, потом — против. Догадались позвать медицинскую сестру из поликлиники напротив треста, с помощью группы молодых активистов и усатого швейцара Акима Бублика без сноровки, неловко, отклеили от трибуны и свели со сцены. Медицинская сестра по привычке частила: «Потерпи, миленький, недолго мучиться осталось! Недолго, миленький!» Публика в зале отнеслась к происшествию весьма даже снисходительно, убаюканная скучными докладами, поразвлекалась, но трестовское руководство было, конечно, удручено до нельзя. Управляющий трестом Феофан Иванович Быков, недавно вступивший в эту должность, спросил, клонясь плечом к председателю постройкома, сидевшему рядом:

— Откуда ты выкопал этого недотепу? Как его фамилия?

Председатель, расстроенный почти до обморока, ответил:

— Он ничего мне казался, очень даже бойкий. А фамилия его — Колобок. Нет, извините, Бублик.

— И фамилия у него недотепистая! — сказал управляющий и засопел. — Ничего вам поручить нельзя!

Председатель тоже засопел, придумывая неудачнику изощренные виды мести.

Заседание продолжалось дальше чинно и уже без всяких потрясений.

Это случилось в те времена, когда архитекторы открыли совмещенный санузел.

Сестра вывела незадачливого оратора через черный ход и отпустила на волю, вполне спокойная за его здоровье. Бублик постоял некоторое время, прислонясь лбом к холодному стволу березы, и напрямик подался в кафе под названием «Алые паруса», где буфетчицей работала знакомая Лизочка, мрачно напился там портвейна за номером тринадцать — крепче в заведении ничего не наливали, так как девятым валом поднималась очередная кампания по борьбе с алкоголем — и походкой матроса, только что совершившего кругосветное плавание, подался к маме жаловаться на горемычную свою долю. Он любил плакаться именно маме, потому что она его понимала, жалела и никогда не признавала виноватым.

Конфуз тот перед очень представительной аудиторией имел для Акима Бублика роковые, надо отметить, последствия: с тех пор он, малый в общем-то пробивной и бойкий, становился до крайности застенчивым, когда попадал в общество интеллектуалов. Он терялся настолько, что производил впечатление человека весьма слабых умственных способностей. Шок, перенесенный в молодости, зае-

зал нашему герою дорогу вверх по служебной лестнице. Головокружительной карьеры он, пожалуй, и не сделал бы, но в так называемое среднее звено руководителей мог пробиться наверняка, тут и гадать нечего. Что поделаешь: слабость есть слабость.

...Утром глава треста Феофан Иванович Быков вызвал к себе кадровика и осведомился, хмурясь:

— Молодой специалист Колобок где у нас работает?

Кадровик, мужчина почтенного возраста с седыми мушкетерскими усами, стал, пришептывая, считать на полке звезды. Посчитал и ответил:

— Такого у нас, извините, нет — ни в тресте, ни в управлениях.

— Как же это нет! А кто вчера «симпозиум» выговорить не мог?

Кадровик обрадовался и засмеялся дробным почтительным смешком, придерживая ладошкой нижнюю челюсть. На лбу управляющего пролегли тяжелые морщины.

— Ну!

— Так то — Бублик! Неприятность, конечно, я понимаю, но ведь и поразвлек высокое собрание.

— У нас не цирк! — отрезал Быков.

— Оно конечно... С одной стороны...

— А с другой?

— Что с другой, не понял?

— С другой стороны?

— А! Так волновался же. До того парнишонка волновался, что «скорая» откачивала его, как рассказывают Сам-то я не был там.

— Откачивали... Так где он работает у нас?

— В техотдел прикреплен. Дальше — посмотрим. У него, между прочим, отец — почтенный человек. Знаменитость.

— Отец пока меня не интересуется. Вы свободны.

Когда кадровик, ступая по малиновой дорожке чуть ли не на цыпочках, подобно охотнику, выслеживающему

дичь, покинул кабинет, прикрыв дверь в дермати́не и медных гвоздях, похожую на крепостные ворота, Быков позвонил начальнику техотдела Самсонову и поинтересовался, как там проявляет себя молодой специалист по фамилии Колобок. Самсонов ответил львиным рыком, что у него есть Бублик, Колобка у него нет в наличии, но неплохо было бы не иметь ни того, ни другого.

— Что такое?

— Он сортир на полтора очка не нарисует, и чему в институтах нынче учат, непонятно? Он у меня тут как жернов на шее, и гнать не положено.

— Гнать не положено,— с лирической задумчивостью ответил управляющий.— Закону нет такого. Вот если бы он был, к примеру, морально неустойчив... Нельзя гнать.— Феофан Иванович поймал себя на мысли, что с этой минуты его интерес к трестовскому Цицерону потерян.

Мы несколько отвлеклись от канвы повествования, однако отвлеклись не без причины: надо же было показать, какие нестандартные отношения сложились между мелким трестовским чиновником и его управляющим, сидящим на острие пирамиды немалой высоты. Акиму Никифоровичу всякий раз приходилось задира́ть голову до ломоты в затылке, чтобы разглядеть Быкова в его кабинете за полированным столом размерами с хоккейное поле. Бублик-Колобок, понятно, очень дорожил редкой возможностью пообщаться с шефом накоротке, набраться некоего аристократического духа, витавшего вокруг управляющего, человека недюжинного, которому все давалось с легкостью — награды, звания и, конечно, деньги. Аким Никифорович чувствовал перед начальником мальчишескую робость, но и гордился, что они знакомы домами.

В прихожей Быковых Шурочка, не успев снять пальто, облобызалась с Натальей Кирилловной, которая качнулась к госте без подготовки и с азартом. На плече хозяйки висело кухонное полотенце, в левой руке она держала тарелку, разрисованную маками. Обе женщины стонали, терлись щеками и запаленно дышали. Наталья Кирилловна, небольшого роста блондинка, постриженная «под мальчика», смеялась, будто ее щекотали. Шурочка же тяжело топталась и била хозяйку меж лопаток ладонью. Аким сел в кресло и закурил — он положительно не представлял себе, что делать и как быть, поскольку здесь всегда смотрели сквозь него, как сквозь стекло, и замечали лишь тогда, когда он стоял на дороге или занимал за столом чужое место. В таких случаях его вежливо просили спрятаться малость в сторонку или же передвинуться дальше — влево или вправо.

— Потрясающую новость принесла, Наталья Кирилловна! — зачастила Шурочка. — Ты про Мосолова слышала, про доктора наук?

— Нет, лапочка, а что такое?

— Весь город об этом говорит.

— А что такое?

Аким с тоской наблюдал, как из-под его ботинок настекает на паркет черная лужица, и прикидывал, сколько ему сидеть здесь, забытому и в неприюте?

Про Мосолова Шурочка ему рассказывала дома, но коротко, скупясь на краски, тут же она выложится — нарисует картину объемно, со всеми подробностями. Это уж как пить дать. Не для мужа берегла она такую шикарную историю. Помянутый Мосолов, холостяк и в возрасте чуть за шестьдесят (жена его скончалась, дети выросли и разъехались по белу свету), приударил за лаборанткой на своей кафедре. Муж лаборантки вечно в командировках, а профессор — тот рядом, ухаживает

галантно: цветочки среди зимы дарит, колечки, ожерелья, на оперетту приглашает и на чай напрашивается. Да. Раз отказала, два, значит, отказала, но за подарки когда-то и расплачиваться надо, коли брала с благосклонностью! Куда деваться-то? Пригласила однажды. Попили чайку ну и — хе-хе! — у профессора-то возьми и случись инфаркт миокарда. Врачи категорически запретили шевелить больного. Лежит он таким образом у лаборантки в однокомнатной квартире недвижно, а муж телеграммы стучит бесперечь такого содержания: «Люблю, незабвенная. Скупаю. Скоро буду».

Аким успел выкурить сигарету, а Шурочка лишь до толкалась до того момента, когда профессор преподнес впервые своей молодой сотруднице букет гвоздик. Женщины только выяснили еще, что этот самый Мосолов работает не в том институте, где преподает Наталья Кирилловна. «Так и уйду не раздевшись!» — подумал Бублик и громко откашлялся, чтобы его имели в виду, но его не имели в виду, тогда он полез в карман за новой сигаретой.

Шурочка скинула пальто, бросила его на колени мужу, не оглянувшись, и приникла к зеркалу, не прекращая ни на минуту работать языком — она говорила про библиотеку Мосолова, одну из самых богатых в городе. Наталья Кирилловна стояла за спиной Шурочки, мимолетно заглядывая в зеркало, висевшее на стене, встряхивала волосами и без устали смеялась — звенела, будто колокольчик, в предчувствии интриги, потом она стала размахивать руками и ударила Акима тарелкой по носу. Хорошо, что удар получился вскользь, иначе бы пустила она ему юшку! Гость поспешно встал, потому что тарелка маячила близко, обдувая лицо холодком, повесил плащ на крючок и зычно спросил:

— Наталья Кирилловна, тряпочка у вас найдется? Следы тут оставил, так неловко.

Шурочка как раз рисовала в подробностях квартиру профессора, четырехкомнатную и в персидских коврах.

— Тряпочка-то найдется у вас?

Бесполезный был вопрос насчет тряпочки — стрельни сейчас из пушки, тут бы и выстрела не услышали. Шурочка выстраивала сюжет в детективной манере со словами «в один прекрасный день», «однажды туманным вечером» и «круг явно сужался». Наталья Кирилловна перестала дышать, губы ее были испуганно полуоткрыты. В кроличьих глазах Шурочки, чуть раскосых, бегали сухие огоньки, голос ее дрожал, повествуя о том, как Мосолов поднимался к лаборантке на двенадцатый этаж (лифт, как всегда, не работал!), как лицо его принимало синюшный оттенок, тем не менее он шутил, он будто бы даже сказал такие слова: «Вы, Леночка, живете под самым небом, и это справедливо: ангелы живут высоко и спускаются к нам не часто».

Аким нашел тряпку в ведре, стоявшем возле унитаза в уборной, вытер паркет, вытер свои туфли и по широкому коридору с застекленными дверьми по обе его стороны побрел в поисках кого-нибудь живого. Он не забыл прихватить сумочку жены, в которой лежал подарок Феофану Ивановичу Быкову — хрустальная пепельница, тяжелая, будто гиря.

Коридор был пуст; окрашенный белой краской, он напоминал приемную платного дантиста, где дерут зубы, не спрашивая фамилии. Аким безусловно уважал Феофана Ивановича Быкова, но считал его человеком непрacticным. «Не мог разве квартиру себе подобрать поинтересней! — рассуждал Бублик, ступая вежливо и неслышно. — Кому-кому, а уж ему-то любую дадут. И в любое время». Быков два года назад развелся с первой женой, поженился во второй раз и переехал на новое место жительства, свил себе, так сказать, гнездо опять, расплатившись выговорами и блестящими видами на будущее. «Решительный мужик! — подумал Бублик. — Не всякий на та-

кое пойдет». Акиму очень хотелось, чтобы Быков стал заместителем министра или даже министром по линии строительства — вариант не исключался — тогда бы, смотришь, и другим повезло. Лично сам Аким Никифорович втайне хотел попасть в Москву. Желание это было смутным, но настойчивым и непроходящим. Откуда и когда оно прорезалось, это желание, непонятно, но сама мысль о переезде в столицу вызывала тревожную истому.

Коридор привел еще к одной двери, глухой, без стекла. Из комнаты невнятно доносились голоса. Аким постучал согнутым пальцем по косяку, и его пригласили войти.

В угловой комнате с двумя окнами и балконом было трое. Сам Быков сидел за письменным столом. Стол грубо и нежно отдавал шоколадом, отражая свет люстры. Управляющий почти лежал на столе, распластав на его глади тяжелые мужицкие руки. На его темени просвечивала плешь. Лицо у Быкова красное и длинное, нижняя губа оттопырена с постоянным выражением: «Я тебя прощаю, потому что ты глуп». Глаза у него всегда полузакрыты, будто управляющий или очень хочет спать, или только что с постели. Однако отчужденность, присутствующая на лице Быкова, никого не пугала. Напротив, кое-кто в пересудах за спиной упрекал начальника в излишнем либерализме и мягкотелости. Он, говорили, блестящий инженер, но неважный администратор, несмотря на то, что иной раз на рапортах Быков употреблял слова и обороты, не согласованные с цензурой.

Итак, Быков сидел за письменным столом, слева от него, в изголовьи тахты, возле тумбочки для постельных принадлежностей, сидел заместитель председателя горисполкома рыжий Зорин, сидел также там и егерь, ближайший друг хозяина, Василий Мясоедов, заросший бородой до глаз. Егерь Мясоедов был в мятых распузыренных на коленях штанах и босиком. Ноги его, желтые и с кривыми ногтями, явно не вписывались в обстановку, но этот

лешак таежный (Аким Бублик знал его) ничуть не смущался своего вида, он, казалось, вообще не умеет смущаться. Пользуется человек тем, что Быков без охоты и рыбалки жить не может, вот и распоясался. Под батареей отопления еще заметил гость, торчали валенки егеря, разношенные и залатанные.

Аким Бублику обрадовались: все-таки свежий товарищ, с ветру товарищ.

— Тяпни, дорогой! — оживился рыжий Зорин. — Мы тут уже приложились. Ждать, оно, — скучно.

Бублик, выгнувшись, с почитительностью и ласковой улыбкой принял из руки Зорина пузатую рюмку с жидкостью кофейного цвета и воздел брови, спрашивая глазами: что мы пьем?

— Коньяк. Армянский, который Черчилль глушил непотребно. Богато живет наш управляющий, богатую жену имеет: гарнитур она ему, видишь какой, отвалила в подарок, гляди!

Аким скоился на гарнитур, и коньяк пошел по горлу неблагородно — застрял ершом, клопный дух ударил в ноздри. Зорин сунул гостю блюдечко с дольками лимона в сахаре. Лимон не помог: Бублик закашлялся, прижал кулак ко рту, из глаз его упала крупная слеза.

— Феофан, сколько твоя благоверная за эти дрова отвалила, повтори-ка нам? — пробасил егерь и, шлепая босыми ступнями, прошел к тумбочке, налил коньяк в стакан и разом проглотил порцию.

— Не в курсе, — ответил Быков и уныло почесал затылок: вопрос ему не понравился.

— Зато я в курсе! — с живостью откликнулся рыжий Зорин, — две тысячи и пятьсот целковых она отвалила!

Аким Никифорович, жмурясь, вытер слезу уголком платка и с заметной оторопью принялся рассматривать стенку, возвышающуюся до потолка. Стенка была медного цвета с золотым отблеском, и в нее можно было смотреться. Там, в загадочной глади полировки, голова

Акима Бублика плющилась, расплзалась вширь, будто ком теста, рот был зубастый и широкий, таким ртом можно было заглатывать дамские сумочки.

— Чья стенка? — робко спросил Бублик, присаживаясь в кресло.

— В каком смысле чья? — не понял вопроса Олег Владимирович Зорин, заместитель председателя. — Быкова теперь стенка, Феофана Ивановича. Жена ему, видишь, полный кабинет организовала, чтобы творчески работал.

— Я не о том. Чья фирма?

— А кто ее знает, — ответил Быков, посапывая. — Может, наша, может, и не наша.

— Я сейчас у Натальи спрошу, — заявил егерь, — чья фирма.

— И где достала.

— И где достала спрошу. — Егерь, вскинув варначью свою бороду, подался солдатским шагом выяснять у хозяйки, где и как она спроворила такое чудо.

Тем временем Олег Владимирович Зорин с удовольствием начал показывать Акиму Бублику стенку — он открывал ключами дверцы в таинственное нутро полок, откуда пахло почему-то морем и грецким орехом. Внутри местами лежала пыль мучного цвета. В стенке был и шкаф для одежды. Двери в шкаф открывались с музыкальным звоном. Хитрый механизм, спрятанный неизвестно где, наигрывал мелодию, похожую слегка на мотив старинной русской песни «Не брани меня, родная». Эту песню часто пела мать Акима Серафима Ивановна, когда в одиночестве лепила на кухне пельмени. В шкафу имелись еще и часы.

— Удобно! — ворковал Зорин. — Вешаешь ты тряпки и видишь, сколько времени, надеваешь, допустим, штаны и тоже видишь. Очень даже продуманно. Не наши, ко-

нечно, дрова, у нас музыку вставлять не станут — хлопотно.

— Наверно, не станут,— подхватил Быков и зевнул.— Давайте лучше еще по маленькой, а? Не против?

Они были не против.

— Шикарная вещь! — сказал Бублик и пригнулся, будто получил затрещину: сок лимона щипнул пораненную бритвой губу. Он торопился на этот ужин, волновался и в итоге малость порезался.

Быков опять вяло махнул рукой: хватит, мол, об этом, но чувствовалось, что подарок ему приятен.

Заявился бородатый егерь, объявил с торжественностью, что за стенку отдано две с половиной косых и что полированная эта поленица сделана у арабов — то ли в Сирии, то ли в Иране — и на город отгружено всего три комплекта. Один достался Наталье Кирилловне по случаю и почти без блата. Потом егерь заявил, что женщины шокированы его нереспектабельным видом и он с ними вполне даже согласен.

— Феофан, дай мне что-нибудь надеть, а то ведь за стол не пустят, пока вы тут шель да шевель, я быстренько душ приму.

— Я тебе сразу о том говорил, Васька. Ты же не в тайге.

Егерь вдруг ослабилась и показал на Бублика пальцем. Цыганские его глаза жгли:

— Так ты и есть Аким? Тот самый, значит, Аким! Прости, не узнал я тебя сперва — размордел ты, по-моему. А вообще веселый ты парень. Я как тебя вспомню, смех меня разбирает до колик, веришь-нет. Ты уж прости.

— Хватит тебе об этом! — поморщился Быков.— Со всеми случается. И с тобой, Вася, случиться может.

— Согласен: и со мной, и вот с ним,— егерь кивнул на рыжего Зорина, доедавшего бутерброд с ветчиной.— Может случиться. А — смешно!

Аким Бублик густо скраснел, погружаясь в неприятные воспоминания. «Все Шурка! — в который уж раз думал он.— Если бы не она, стерва, не попал бы я в такое пиковое положение. Хорошо еще, что Быков, видать, никому не рассказывал про тот случай — в тресте бы проходу не дали!»

...Однажды зимой, в прошлом году, Шурочка объявила:

— Быков, между прочим, на охоту едет, я договори-лась — он и нас возьмет, место есть в машине. Отдохнем, да к отцу твоему заглянем — там недалеко. Слышала, на лыжах добраться запросто. Ты напомни завтра Быкову, не переломишься и язык у тебя не отсохнет. Тем более, я договорилась.

На следующий день Аким зашел в кабинет управляющего, большой и пустоватый. Быков по обыкновению вспомнил не сразу, как фамилия посетителя и чего он, собственно, добивается, а когда вспомнил, кивнул: все в порядке и планы его не изменились — он едет и двоих может взять, поскольку обычная компания не в полном составе: Зорин Олег Владимирович по службе занят.

До деревни Пихтачи «газик» дотащился поздно — по дороге несколько раз буксовали, переночевали вповалку на медвежьих шкурах в доме егеря, который встретил их неласково, кричал про то, что он весь день горбатился — топил баню, жарил лосятину, доставал из погреба медовуху и так далее, а они не могли, видите ли, раньше подско-чить, они шибко заняты, а он нешибко занят.

— Не ворчи, Васыка! — оборвал хозяина управляю-щий.— Поужинать дай.

— Остыло все, разогревать надо.

— Так разогревай!

Шурочка и жена управляющего Наталья Кирилловна есть отказались, сославшись на усталость. Быков пошел с хозяином ужинать в смежную комнату и, видимо, пить медовуху. Аким тоже было сделал попытку присоединить-ся к компании — поднялся с немягкого своего ложа и за-

топтался возле подушки, но Шурочка в крошечной тьме, выпростав руку из-под одеяла, ухватила мужа за ногу и едва не сдернула с него кальсоны:

— Ложись!

— Почему это — «ложись»?

Говорили они шепотом, чтобы не разбудить Наталью Кирилловну, которая уже посвистывала носом, как чайник.

— Я жрать хочу!

Аким Бублик и в самом деле ощутил вдруг волчий голод. Из комнаты, где сидел Быков, тянуло кислой капустой и жареным мясом. Еще чем-то вкусным тянуло. Кто-то там хрумкал огурцом, интригуяюще звякнули стаканы.

— Пожрать нельзя, да!?

— Успеешь, завтра налижешься. И тебя никто не зовет, ложись, не топырься.

Аким Бублик в ту минуту горько пожалел себя, его кольнули слова Шурочки насчет того, что, если он и сядет за стол, то и вправду незванный, что его никто не любит и не жалеет. Подушка, набитая сеном, хрустела, через наволочку робко пробивался луговой дух забытого детства. Там, в детстве, тоже ничего доброго не случилось: в пионерских лагерях Акима исподтишка били, потому как по причине его неразворотливости отряд не занимал много лет призовых мест по всем показателям. В животе чувствовалась гнетущая пустота, сон был маятный и беспокойный.

Утро выдалось прекрасное. Утром они — хозяин Василий Мясоедов, шофер Гриша, Аким и Быков — после легкого завтрака подались в баню. Солнце только показало алый краешек из-за горы, на снегу лежал тревожный отблеск пожара, он качался и трепетал, этот отблеск, словно кумач на ветру, дышалось с отменной легкостью. Снежок, выпавший ночью, уминался под ногами упруго и с задорным скрипом. В ельнике позади заволошно кричали галки. К банёшке на краю огорода вела тропка в один след. Хозяин Вася вышагивал впереди, под мышками у него

были зажаты веники, концы их качались и шелестели в такт, словно тихий марш, сопровождающий их маленький отряд, откомандированный занять позиции.

Баня была уже натоплена.

Поддав парку, сели возле каменки потеть.

Потели молча и долго в тесноте на скользкой лавке вдоль стены.

Ради лишь краткости изложения я упускаю ритуальные подробности, поскольку они могут занять не одну страницу. Скажу только, что егерь Вася поддал парку сперва квасом, потом — кипятком на меду, исключительно ради духовитости.

Управляющий Быков блаженно постанывал и обеими ладонями убирал с длинного своего лица пот, шофер сидел недвижно и молча, егерь, приоткрыв дверь в предбанник, что-то высматривал через скупое оконце. В тот момент Быков возьми да и скажи:

— Еще бы добавить, а?

Аким Бублик, подхлестнутый усердием трестовского происхождения, ринулся выполнять директиву и со свойственной ему неловкостью уронил с печки валун, величиной и формой напоминающий круглую булку, раскаленный почти докрасна. Хорошо еще, что никого не задело и не обожгло. От камня с шипением ударил вонючий пар.

— Экий ты неугребистый, парены! — осерчал егерь. — Как тебя звать-величать-то?

— Аким.

— Вот, Аким-Яким. Неугребистый ты, говорю!

— Извините.

— Вынести надобно эту скалу! — приказал Быков. — Ты бы еще стеновой блок положил сюда, Васька!

— Не я положил, из гостей кто-то. Ни хрена не соображают люди!

— Вынести надо.

— Я мигом! — Засуетился Бублик и мелкими шажками

совершил возле камня круг, слегка ошпарив ноги. Он не имел представления, как подступиться к делу.

— Ты не крутись,— сказал от дорожка егерь.— Я тебе верхонки дам, ты его в таз, камень-то, и на улицу. Просто. На верхонки.

Бублик надернул негибкие брезентовые рукавицы шириной каждая с лопату, замазанные пихтовой смолой, схватил злополучный камень, бросил его в жестяной таз и, согнувшись от немалой тяжести, все тем же мелким шагом направился вдоль скамьи в предбанник, боднув по пути скользкую и холодную дверь. Потевшие на скамье мужики отодвинулись подальше от опасной ноши и вжали животы.

— Ты бы сам, Василий, управился,— заворчал Быков.— Он же не знает, куда кидать.

— Пусть поработает. Ты, парень, в речку камень-то брось, на огороде он мне не нужен совсем. Речка, она за баней сразу. Там — обрыв.

— Простынет еще, голый ведь.

— Не простынет — упитанный товарищ.

— Это не зависит: упитанный или неупитанный,— глубокомысленно заявил молчавший до сих пор шофер Гоша, весьма степенный юноша с тонкими усиками под большим носом.

— Что не зависит? — поинтересовался егерь на всякий влучай и плеснул на каменку еще кипятку.

— Упитанность и простуда,— пояснил Гоша, давясь жаркой волной, прихлынувшей от печки.— Толстые, они еще пуще простывают. Чуть сквознячок, и он, смотришь, за-сморгался. Знаю я такого, у нас в тресте есть такой.

Аким Бублик тем временем боднул еще одну дверь и вывалился на свежий воздух. По первости он ничего не видел, ослепленный: белый снег горел и лучился, облитый хрустальным огнем. По небу плыло облако с лебединой шеей, чешуйчатое. Сквозь облако высверкивало голубое небо. За избой егеря стоял пихтач в шелковой зелени. Сердце Бублика наполнилось вдруг удалью, он

засвистел, радуясь тому, что живет и имеет возможность дышать, глядеть на небо, любоваться далями, тайгой на горах и париться в бане с хорошими людьми. Бублик скатился со скользкого крылечка, оттолкнул плечом бычка, стоявшего посереде дороги с выражением пресыщенного жизнью повесы, свернул направо за угол, пролез между жердяными пряслинами и отвел таз за плечо, будто литовку на покосе:

— Ррязя!

Сперва Бублик ничего не понял. Небо с облаком крутилось, переворачивалось, разверзалось, как в кино, когда гибнет главный герой, потом плечи жигануло холодом, и дальше уже прояснилось, что это полет сверху вниз, куда-то сквозь землю. Скольжение это, болезненное, протекало целую вечность. Наконец, качнувшись, облако встало на место, замерло, потом неторопко, словно по водной глади, двинулось своим путем. Аким лежал, распластаный на льду речки, и видел, как в перевернутом бинокле, голову телка, маячившую высоко и сильно уменьшенную размером.

Аким сказал:

— Ма-ма! — и собрался лежать на снегу до тех пор, пока его не хватятся и не поднимут тревогу, звать на помощь он стеснялся, угнетенный мыслью, что его увидит в таком непотребном положении сам Быков, но и лежать спокойно бедолаге не было суждено: жестяной таз, накрыв камень, проделал путь по крутому откосу раньше, он шипел, подпрыгивал, изрыгая пар. Аким на карачках пополз вверх, повторяя негромко: «мама! мамочки мои!» Однако круть была неодолимой, пальцы скользили по ледку, спрятанному под снегом, и тело волокло прямехонько на жерло вулкана, бушующего под ногами.

Нешуточно запахло сперва драмой, потом и трагедией, не подвернись по случаю сосед егеря — невеликого росточка старичок по фамилии Усольцев в самодельной шапке рысьего меха величиной с колесо от детского велосипеда.

Шапка напозла на глаза, клонила к земле, но старик все-таки заметил струю пара, столбом воздетую над рекой, потом, когда подступил ближе, услышал звуки, отдаленно напоминающие человеческую речь. К речке вели глубокие следы и обрывались над кручей. Усольцев просунул свою лохматую шапку в парную, где блаженствовала компания, забывшая про то, что минут уже пять назад Бублик побегал выбросить камень, и сказал:

— Ваш человек тамака свалилси.

Деда не сразу поняли, а когда он повторил слова свои три раза кряду, егерь встрепенулся:

— Кто упал? Куда упал?

— Ктой-то в овражке стенает, пар тамака валом валит. Не ваш ли человек сверзилси?

Тут всех осенило: Бублика-то нет, значит, он и свалился. Значит, надо выручать. Поднялась суета. Выскочили мужики, кто полуодетый, кто голяком, и по переменке с осторожностью заглянули вниз. Бублик напоминал сверху и на расстоянии белого червя, который, извиваясь, тужился преодолеть неодолимый путь к спасению и уже промял в снегу канаву, под ним все еще шипел, будто паровозный котел, треклятый таз с камнем внутри. Егерь опрометью кинулся в конюшню за вожжами, старик же Усольцев, придавленный шапкой, невнятно высказался в том духе, что пьяного, который свалился, подручной вытащить, подпирая снизу. Быков, поразмыслив, отверг этот вариант, неприемлемый с инженерной точкой зрения. Старик же Усольцев упрямо повторял:

— Вожжа не удёржит, у Васьки вожжи гнилые, потому что он плохой хозяин. Оттедова надоть, снизу, значить.

Вожжа, действительно, не выдержала, Бублик два раза срывался и наезжал задом на таз, слабо вскрикивая. Руки его заковенели, растопырились, будто грабли, и никак не хватывали веревку, наскоро завязанную лохматыми узлами. На третий заход, после того, как егерь, поддерживая кальсоны без пуговиц (он был холостяк), сказал обли-

чительную речь, полную соленых выражений, в адрес пострадавшего, сравнивая того с беременной бабой, Аким поднатужился и общими усилиями, с идиотской улыбкой, застывшей на синем лице, был извлечен из пропасти.

ГЛАВА 3

— Славно ты тогда попарился, брат! — сказал опять егерь. — Молодец-удалец. — И, поворачась к Зорину, добавил с некоторой даже гордостью: — Он в овраг свалился, а когда мы его вытащили, веришь-нет, у него под мышкой березовый веник натурально был.

— Не ври, Василий! — оборвал егеря управляющий Быков уже с настоящим неудовольствием. — Всякий может попасть в смешное положение. Я вот про тебя многое могу рассказать нелицеприятного, но я же молчу — из уважения к тебе. И тебя прошу моего гостя уважать — смущаешь же человека.

Егерь покашлял в горсть, блестя цыганскими глазами, и потрянул головой: на нет, мол, и суда нет, замнем для яности.

Аким Бублик ерзал в кресле, прятал очи долу и сердился на жену Шурочку, поскольку в ее глупой голове родилась выдумка насчет веника. Правда, она шепнула на ухо мужу, что, когда его привели и положили на медвежью шкуру в доме егеря, у него меж ягодиц этак трогательно торчала березовая веточка, превращенная после недоброй молвой чуть ли не в березовую рощу.

...Наконец позвали к столу.

Ровно в девять утра Аким Бублик открыл ключом дверь небольшого своего кабинета, уселся за стол, рывком достал из ящика записную книжку и, сощурившись, полистал ее. Рука уже потянулась к телефону, но замерла на весу: ситуация требовала осторожности. Во-первых, не совсем

улеглось в голове название книги, которую вчера управляющий Быков подарил егерю. Во-вторых, заведующая библиотечным коллектором, куда Бублик собирался звонить, не так уж была и обязана делать одолжение: она просила двадцать листов шифера. Шифер ей достать труда не составит, однако стоит и поманежить женщину, потянуть kota за хвост: пусть знает, как непросто нынче со стройматериалами и сколько хлопот убивается на то, чтобы вырвать и самую малость. Тактика несложная, но действует безотказно, наводит тень на плетень. Шифер и в строительном магазине купить можно, если записаться на очередь, но так ведь всем срочно надо.

— Здравствуйте! — сказал в трубку Аким Никифорович в растяжкой и лениво, как большой начальник.— С праздником вас. С каким праздником? Так у нас каждый день — праздник. Посмотрите по календарю, я не успел посмотреть, милая. Кого надо? Мне бы Марию Игнатьевну на минуточку. Очень занятая? Я тоже очень занятый, но для Марии Игнатьевны всегда нахожу время. И она для меня — тоже. Пусть оторвется, у вас ведь там ничего не горит? Ну, вот. Зовите, у меня сейчас рапорт начинается, народ, понимаешь, подойдет. Мария Игнатьевна? — Бублик несколько помягчал голосом и даже слегка привстал на стуле.— Звонит вам тот самый Бублик. Да. Насчет шифера. Я тут обрешил вопрос, хотя все хотят шифера, а также половой рейки. И цемента тоже. Я решу, дам команду. Да, завтра. Но и у меня к вам есть просьбочка. Книга нужна дозарезу... Да. Художник такой есть. Кент. И написал он книгу «Прости, Господи». Нет такой книжки? Со слуха записывал. Да. С художниками мало дела имел, хотя слежу... Во, правильно — Кент. Рокуэлл. Точно! «Это я, Господи!» Не было и нет? Жаль. Что-нибудь найдется интересного, говорите? Так я сейчас подбегу. Хорошо. Минут через двадцать буду.— Аким Никифорович аккуратно положил трубку, вытер рот платком и подмигнул самому себе: и мы, дескать, не лыком шиты, и у нас при случае будет чем

похвастаться. Вчера у Быковых произошла сцена, достойная удивления: хозяин во время шумного застолья, выбрав момент, вручил егерю толстенную книгу, сказав, что платит добром за добро и о просьбах друзей всегда помнит. Егерь до того растрогался, что упал на колени, глухо стукнувшись о ковер ногами, и благоговейно принял дар, потеревшись бородой о переплет. Оказывается, Васька, варначьего вида мужик, имеет высшее образование, получает на должности всего сто двадцать рублей и весьма доволен своим положением. Это бескорыстие настораживало. Не станет же человек с высшим образованием погибать в глухомани ради одного лишь чистого воздуха! «Наверняка соболиными шкурками на черном рынже барыжничают,— определил Аким Бублик.— Знали бы мы таких честных!» — И наметил для себя достать через егеря пару горностаев или лису, на крайность, одной весьма нужной даме. Ну, и «Рокуэлла Кента» тоже решил достать немедля, чтобы стоял дома на полке и чтобы Быков, приглашенный однажды в гости, увидел книгу и, конечным делом, удивился: да ты, мол, брат, не лыком шит! «Следим за веяниями, не отстаем»,— наметил себе ответить Бублик с этойкой светской рассеянностью.

Аким Никифорович заглянул в свою записную книжку и написал карандашом фамилию художника. «Значит, Кент. Будем иметь в виду».

...Во дворе треста, тесном и гулком, стояла черная «Волга» управляющего, шофер Гоша, с усиками и кавказским профилем, через пляжные очки читал газеты и позевывал, прижимая ко рту кулак. Аким Бублик скатился с крыльца и прилип к стеклу кабины. Гоша лениво положил газету на сиденье и снял очки.

— Подбрось!

— Куда это?

— Тут недалеко. Срочно, понимаешь!

— Недалеко, так и пешком пробежишься, пузо растрясешь.

— Тороплюсь.

— А ты — бегом, — Гоша зевал неудержимо, ему было скучно. К Бублику он не испытывал ни любопытства, ни почтения, мог отвезти его, куда просит, мог послать, куда захочется — в зависимости от настроения. Но тут Гоша вспомнил про баню в таежной деревушке и подобрел: — Садись, прокачу, пока начальство заседает.

В библиотечном коллекторе заведующая сунула Бублику тонкую книжечку, завернутую в грубую бумагу, велела заплатить шестьдесят пять копеек, скупно кивнула, занятая по горло, напомнила, что, может быть, завтра заглянет в трест, согласно договоренности. Бублик поклонился, нестерпимо угнетенный величием заведующей, женщины нестарой, красивой и с холодным министерским лицом, рысью кинулся к машине, поставленной на виду, под окнами коллектора, опасаясь, что шофер Гоша ради мелкой шутки уедет без него.

За столом в своем кабинете Бублик, торопясь, развернул хрусткую бумагу и прочитал на обложке дешевого переплета «Женская сексопатология».

Книжка, действительно, стоила шестьдесят пять копеек, издана была в Москве, автором ее был некто А. М. Свядош.

«За кого она меня принимает! — возмутился Бублик. — Интересно, говорит, кукла!» Аким Никифорович осторожно и с некоторой брезгливостью перефлораживал книжку в руках и не мог решить: или ему оскорбиться, или поблагодарить за великое одолжение. Тут в кабинет с вывеской «Заведующий сектором нестандартного оборудования» забрел из проектного отдела Боря Силкин, баловень судьбы, лауреат Государственной премии, полученной с группой авторов, в числе которых был и управляющий Быков, молодой специалист. Боря делал свою работу вроде бы, спустя рукава, походя, но обязательно оригинально, жизнерадостно. Он вообще не умел унывать и большую часть рабочего времени проводил в трестовских коридо-

рах, тем не менее в его голове постоянно свершался таинственный процесс по линии гражданского строительства — там складывалась цифирь, чертились схемы, рождались в общем дерзновенные замыслы. Боря Силкин, брюнет, был пострижен под «бокс», по давнишней забытой моде, и лишь эта деталь несколько выделяла его из толпы, роковая же печать гениальности начисто отсутствовала на его круглом и добродушном лице.

— На службе читать не положено, Аким Никифорович, — заявил Боря Силкин и сел на стул возле сейфа... Стул под ним горестно застонал. — На службе, как предписывают должностные инструкции, надо трудиться на благо и так далее. Детектив попался?

— Да тут, — ответил Бублик, глядя в потолок. — Книжку сунули... — Аким Никифорович не определился еще — доставать заведующей библиотечным комплектором шифер или, значит, не доставать. — Посмотри вот.

Боря Силкин взял книгу и засвистел, качая головой.

— Чур, я первый на очереди!

— Какая еще очередь?

— Разве вы не дадите товарищам почитать эту вещицу?

— Дак оно конечно...

— У нас такая литература раньше вообще не издавалась, Аким Никифорович!

— Мне вроде ничего такого не попадалось...

— И мне не попадалось. Значит, я первый?

— Ладно.

— Где достали?

Бублик почти что вырвал книжку из Бориных рук, открыл сейф, названивая ключами, и положил «сексопатологию» в темное нутро железного ящика. Громко щелкнул замок.

— Когда дадите почитать?

— На следующей недельке загляни. Сперва, конечно, сам ознакомлюсь, хе-хе! — Бублик подмигнул расстроено-

ному гению и под локоток, мягко, вытолкал его из кабинета.

Сварливо заверещал телефон.

Шурка! На часы глядеть не надо. Странное дело, Аким Никифорович безошибочно угадывал, когда звонит жена. И он угадывал, о чем пойдет сейчас разговор.

Шурочка работает в универмаге, заведует галантерейным отделом. Девочки в подчинении у нее молоденькие и потому до поры безропотные, так что и посажковать начальнице есть возможность. И вообще деятельность интересная. универмаг дает широкие связи, да и потом сюда с утра стекаются всякие городские новости.

— Слышь,—начала Шурочка со смешком.—Одна тут женщина... Слышь?

— Слышу! Заладила сорока про Якова.

— Одна тут женщина сегодня рассказывала, она кладовщица на базе. Дочь замуж отдавала, так, представляешь, какая мода завелась — тамаду приглашать, чтоб речистый был. И представительный. И с положением, конечно.

— Да?

В кабинет зашла секретарша в голубом платье, положила на стол бумаги. Бублик кивнул ей и показал на телефонную трубку кулаком: занят, мол, выше головы. Секретарша удалилась с поджатыми губами и в дверях пожалала плечами: мое дело маленькое — занят ты или не занят.

— ...Кладовщица, баба разбитная, профессора из института уломала в тамады, чтобы нос всем утереть.

У профессора еще борода до пупа — представительный мужчина.

«Вчера профессор, сегодня профессор,— думал Бублик рассеянно.— Много их что-то развелось»...

— Ну?

— И представляешь, во что это ей обкатилось?

- Кому обкатилось?
- Кладовщице, дурак! Профессор взял за вечер сто пятьдесят рублей, плюс корзина продуктов да три бутылки коньяку, не считая того, что жена профессора пила и ела за столом вдоволь. Кто ее остановит?
- И зачем все это?
- Как зачем? Мода, говорю, такая.
- А-а...
- Ты спрашивал?
- Кого?
- Не пудри мозги, насчет стенки спрашивал?
- Нет еще.
- Опять губы развесил!
- Ничего я не вешал!
- Три стенки на город, дурак!
- Не имею пока представления, на кого курс держать.
- Он не имеет представления! А Зорин на что, он же в горисполкоме торговлей ведает, перед ним все лапки вверх.
- Лапки-то вверх, да мало мы знакомы. Тут ход нужен.
- Никаких ходов, сошлешься чуть-чего на Быкова — и он, мол, просил убедительно посодействовать. Три стенки на город, пока мы чешемся, все расхватают!
- А деньги где? Две с половиной косых — не шутка.
- У отца твоего зайдем, он при средствах.
- Уже занимали.
- Еще зайдем. Я знаю: ты перед большим начальством робеешь, но мне насчет стенки отказано твердо — мои подружки за такое дело не берутся, да и завбазой на курорт отъехал. А денег у деда зайдем, не впервой.
- Аким Никифорович не прочь был бы добавить, что занимали много и не отдавали ни разу, но Шуручка таких резонов не брала во внимание — ей теперь же нужна арабская стенка, она ради той самой стенки свое белье продаст, да потом и самому, если честно признаться, тоже захотелось иметь шикарную поленницу, как выразился

егерь, с музыкальным звоном, чтобы как у Быкова в доме все было — легко, шикарно, размашисто.

— Мать денег даст...

— Откуда возьмет старуха, сама посудит?

— Она же шеф-поваром работала, на черный день подкопила — не беспокойся. И много ли ей надо, одной-то?

— Скромно живет, верно...

— Ну, вот и договорились.

Бублик осторожно положил трубку на телефон и вытер вспотевший лоб платком.

ГЛАВА 4

Аким Никифорович Бублик функционировал в современном темпе, то есть бежал марафон не оглядываясь, и не маячила перед ним финишная прямая, где требуется поднажать, не пересекала его путь красная ленточка, которую рвут на радость трибун выпяченной грудью. Бублик пустился в дорогу без перспективы когда-нибудь все-таки прибежать на место. Все мы так бежим нынче, однако у многих есть впереди Малая Цель, Большая Цель и Всякие Другие Цели, также находится время для передыха, у моего героя его нет, он просто когда-нибудь на отпущенной ему судьбой версте пропадет носом землю и не встанет, но смерть эта не всколыхнет мир. Профсоюзный активист, отряженный на похороны в порядке очередности, скажет по бумажке, что сегодня мы провожаем в небытие скромного труженика, бескорыстно отдавшего свои силы гражданскому строительству. Профсоюзный активист несколько возвысит Бублика публично, но то будет святая ложь, потому как о мертвых не говорят плохо. Профсоюзный активист будет вспоминать мимоходом, как однажды снабженец Аким Никифорович Бублик вместо солидола занарядил из Баку вагон конопляного масла и случай тот вошел в историю треста навечно. Однако с кем не бывает,

все мы, понимаешь, ошибаемся, но надо отдать должное покойному, разбитой был мужик, битум в Омске он доставал оперативно, в достаточном количестве и не существовало для него слово «невозможно». Накладные на заводе металлоконструкций он тоже вырывал из-под носа других заказчиков с ловкостью необыкновенной. И по другим позициям он часто бывал на коне. Соберется однажды руководство и думает: что делать? План горит, цемента нет, краски нет, обоев нет, половой рейки нет. Кто выбьет дефицит, кому по силам задача? И тут называют Бублика, даже управляющий Феофан Иванович Быков в таких ситуациях без натуги вспоминал фамилию Акима Никифоровича и благоговейно жал снабженцу руку и только что крестом не осенял, направляя в командировку. Говаривал притом управляющий: — На вас — вся надежда!

Аким Никифорович перед тем, как пуститься в путь, объезжал на машине заветные точки: холодильник, мясокомбинат, торговые базы и набивал спортивную сумку товарами самого тонкого свойства. Покупал он икру, преимущественно черную, коньяк, осыпанный звездами, именитый, губную помаду, краску для ресниц, шоколадные наборы и прочая, и прочая. На казенные, конечно, деньги покупал со щедростью и размахом, потом, подобно десантнику, вооруженному до зубов, засылался на чужие территории. Не на полные сто процентов выполнял Аким Никифорович наказания светлого своего руководства, но из прорыва трест свой, как правило, вырывал, ему хитрыми способами выписывалась денежная премия в виде компенсации за хлопоты и расходы, хвалили его, по голове гладили, и подвиг до поры забывался, карьера стопорилась.

Профсоюзный активист вспомнит перед развернутой могилой про эту несправедливость (имеется в виду карьера) и, чего доброго, всплкнет достаточно скромно, но достаточно трогательно, жалея притом больше себя, чем покойного, и, таким образом сделает все, что в таких слу-

чаях полагается человеку, гражданину и представителю обществу. Трест, конечно, на некролог выделит деньги — на восемь строк черным петитом — и подпись будет под некрологом: «группа товарищей». Помянутая группа даст слово навсегда сохранить в сердцах светлую память об Акиме Никифоровиче, но памяти той хватит лишь до послекладбищенского застолья. Поговорят люди за столом после выпитого о том, что у покойного двое сыновей-лоботрясов и бойкая жена Шурочка («еще ничего себе!»), отец есть («достойнейший человек), мать («вроде живая еще?»); жил, мол, человек, потом возьми да и помри. Все там будем, Господи!

Однако Аким Никифорович — уж будьте спокойны! — не собирается почить, он всех нас оставит с носом. Вырос он, взлелеянный мамой, толстенький, на службе не надрывается, питается неплохо, врачам показывается регулярно и, несмотря на тридцатипятилетний возраст, имеет все тридцать два зуба во рту, что по нынешним временам — редкость. Так что, дорогой читатель, впереди у нас веселая история про то, как снабженец Бублик доставал арабскую стенку с музыкой на мотив старинной русской песни «Не брани меня, родная». Собственно, автор мог бы изложить здесь несколько историй. Про то, например, как наш герой мечтал о «Волге», но купил «Запорожец» красного цвета, похожий на детскую калошу, как доставал в дом чешскую хрустальную люстру, огромную, будто глыба льда, потому что люстра была театральной, как строил гараж, а позже и дачу, но, может быть, мы и вернемся к этим вехам в биографии нашего героя, но, думаем, хватит с лихвой и этой повести, если она напишется: необъятного, известно, не объять.

...В приемной заместителя председателя горисполкома Зорина, обшитой мебельной доской под красное дерево, было сумеречно и прохладно. Вдоль стен сидели рядом просители разных возрастов и обличья, у двери стоял большой старик с бафом — караулил свою очередь с

нетерпением, будто рвался на прием к врачу ввиду неотступной боли.

Аким Бублик оттер старика плечом и вслед услышал: — Однако позвольте! — и легко перешагнул порог. Задерживать его никто не решился, лишь старик гневно стукнул батоном об пол. Но то был протест запоздалый и не имел результата.

Бублик простер руки, готовый в случае чего и обняться с замом, но был остановлен посреди кабинета раздраженным окриком:

— Вы почему без спросу?

Бублик сказал в ответ весело, не стирая с лица самой радушной своей улыбки:

— Я в уголочке пережду, вот здесь, — и указал пальцем на стул возле развесистой пальмы, росшей из бочки. — У меня времени в обрез, Олег Владимирович.

Зорин, извинившись кивком перед посетительницей, седой женщиной интеллигентного вида, надел очки и осмотрел наглеца с головы до ног, припоминая судорожно, где он видел этого блондина, аккуратно одетого и в туфлях на высоких каблуках. Бублик ясно улыбался и, заложив ногу на ногу, рассматривал паркет, уложенный елочкой. Заместитель не вспомнил, где, когда и при каких обстоятельствах сталкивался с этим странноватым малым, однако погнать прочь его не решился, сетуя на свою память, которая стала подводить. «Старость катится! — подумал заместитель и медленно вложил в роговой футляр очки. — Старость — не радость, эх-хе-хе!» Тут к взаимному удовольствию выяснилось, что у просительницы больше вопросов нет и она готова закончить весьма приятную беседу. Зорин проводил женщину по ковровой дорожке до порога, поворотился резко и уставился на Бублика:

— Что у вас?

Аким Никифорович опять раскрылился для объятий, но Зорин видом своим не подал повода для фамильярности и лишь слегка пожал руку непрошеному гостю.

— Голова не болит, Олег Владимирович? Похмелье не крутит?

— У меня никогда голова не болит, товарищ, я меру знаю.

— Хоть и коньяк пили, да армянский, у меня все одно затылок давит — перебрал вчера, видать.

И тут Зорин вспомнил: перед ним тот самый блондин, что упал с обрыва в речку, голый, и вытащили его по круче на вожже с березовой веточкой в одном интересном месте. Вспомнил, хотел улыбнуться, но лишь пошевелил рыжими бровями и сузил глаза — этот визит ему не нравился, поскольку он не уважал людей, переносящих застольные знакомства в служебную сферу. Одно другому мешает.

— Так что у вас?

— Я вас не затрудню, Олег Владимирович! Ваш звонок куда следует — и точка.

— Куда звонок, товарищ... ээ-э?

— Бублик.

— Товарищ Бублик?

— Аким Никифорович.

— Аким Никифорович?

— Жена у меня ночь не спала, весь диван буквально провертела...

— Я здесь при чем, товарищ Бублик?

— Вы ни при чем, ясно, но стенка ей понравилась, хочет иметь такую же, как у Быковых — арабскую, со звоном которая.

— Со звоном, значит?

— Вот именно!

Олег Владимирович Зорин не был готов к такому разговору — шифоньеров у него еще никто не просил за долголетнюю деятельность на столь высоком посту. Заместитель скопился на Бублика, как птица, и деловито прикидывал про себя: гнать этого наглеца тотчас же или

малость погодить ради любопытства? Однако лицо посетителя источало такую восторженную веру в чудодейственную силу высокого чина, что Зорин, смешавшись чуть, переспросил:

— Со звоном, значит?

— Со звоном, Олег Владимирович. Вы же слышали — музыку играет. Мотив не наш, а вроде бы знакомый.

Зорин стал вспоминать мотив — действительно похожий на что-то, и даже пощелкал пальцами. «Вроде бы на песню похож. Ага. «Не брани меня, родная», ящик наяривает! Придумали тоже — шкаф с музыкой. Чудаки, право слово!» Мысль Зорина побежала по причудливой кривой, запетляла, как тропинка, он вспомнил студенческий отряд на целине, свою незабвенную молодость, костры в черной степной ночи, гитару с бантиком, несудорожное веселье до утра. Девчонки с курса как раз уважали вот эту — «Не брани меня, родная, что я так его люблю»... Разливисто у них получалось. И — грустно. У Зорина защемило сердце, стены кабинета отодвинулись, растаяли, он услышал посвист степного ветра, треск костра, почувствовал томный запах полыни.

— Так вы о чем, товарищ Бублик?

— Я говорю: заманчиво, Олег Владимирович, иметь в доме хорошую вещь, жизнь как-то интересней получается.

— Да. Так я тут посоветуюсь, что для вас можно будет сделать, — сказал Зорин неопределенно. — До свидания.

— Когда вам позвонить?

— Хоть послезавтра. С утра лучше.

Как раз послезавтра утром Зорин улетал в Москву решать кое-какие назревшие городские дела.

— Спасибо, Олег Владимирович!

— Пока не за что.

В трест Аким Никифорович Бублик вернулся расстроенный: он понял, что заместитель председателя попросту от него отбоярился. Самый надежный путь к цели, считай, оборвался. «Но ничего, не один Зорин в этом городе решает, найдем товарищей и посерьезней».

На подоконнике в торце коридора сидел Боря Силкин и в задумчивости курил сигарету, пепел он стряхивал в бумажку, свернутую кульком. Бублик тронул Силкина за плечо:

— Вот ты умный парень...

Боря загасил сигарету и спрыгнул на пол.

— Никто не считает себя глупым, Аким Никифорович. Я в том числе. И вы, надеюсь, тоже?

— Я — тоже, — кивнул Бублик. — Но ты теоретик и разреши одну задачу. Сам я ее не разрешу.

— Пожалуйста. Если смогу, конечно.

— Когда я учился в школе, — сказал Бублик, трогая Борю за пуговицу пиджака. — Рыжих было навалом. Мы их дразнили.

— Дразнили.

— Так дразнили: рыжий, пыжий, конопатый, убил бабушку лопатой. Или: мама рыжа, папа рыжий, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосам. И еще: рыжий-пыжий, через сито загорал, — Аким Никифорович напряг мысль, но больше ничего относительно рыжих не вспомнил. — В общем, всяко дразнили.

— Дразнили.

— Это я к чему? Рыжих много было, а теперь — мало. Почему?

— Я когда в школе учился, у нас рыжих, кажется, не было? — Боря ухватился пальцами за мочку левого уха и замер. Глаза его остекленели на минуту. — Действительно, почему?

— Найдешь ответ — дам книжку почитать. На неделю дам.

— Сразу не сориентируешься. В литературе, наверно, порыться стоит или у медиков спросить? У социологов?

— Вот и спрашивай, тебе и карты в руки.

— А вообще это интересно!

— Конечно, поди, интересно, в чем причина, отчего происходит стирание рыжих?

— Действительно...

— Вот и соображай.

— Попробую, Аким Никифорович.

— Ну, пока.

ГЛАВА 5

Сперва упал непрятный дождичек, потом выглянуло солнце, озолотив мокрый асфальт, кое-где еще прикрытый снегом. Снег был грязный, источенный теплом, с ледяными кромками, которые блестели, будто остро наточенные ножи. Из-под льда сочилась вода и собиралась ручьями, с шумом падающими в сточные колодцы. Шум этот казался музыкой. Кое-где на карнизах висели сосулины, длинные и тонкие, с них размеренно скатывались капли, отбивая дробь на жестяных трубах.

Вечерело. На улицах было много праздного народа, глядевшего на мир с благодостной рассеянностью. Прохождение, задевая друг друга плечами, оборачивались с улыбкой и не извинялись, потому как весной преобладает в нас хорошее настроение.

Акиму Никифоровичу Бублику часто останавливался и глядел вслед женщинам, одетым в плащи или легкое пальто. После затяжной зимы увидеть женщину, одетую почти по-летнему, всегда как-то внове и приятно. А тут сперва навстречу, потом, миновав Акима Никифоровича, прошла, можно сказать, газель — длинноногая, с крутыми бедрами, она проплыла мимо, обдав теплым запахом духов, с ее круглой головки, причесанной плотно, свисала гривка

на манер конского хвоста и подпрыгивала в такт шагам. Бублик застыл возле чугунной решетки на краю тротуара, растворив рот. Стоял он так замороченно до тех пор, пока его не оттеснил молодой наглец с рулоном ватмана под мышкой. Рулон он направил прямо в нос Бублику, будто ствол ружья, притом подмигнул и оскалился, потряхивая головой, напоминаящей небольшой тюк раздерганной пакли.

— Не по тебе товар, дядечка, а?

Аким Никифорович не успел ничего подходящего найти для ответа и, несколько смущенный, заскочил с ходу в молочный магазин, купил сырок в серебряной обертке, потом с видом угнетенного заботами мужа заторопился домой, размышляя о разном. «Все-таки весна есть весна. Она как-то бодрит». Вспомнилась вдруг свадьба. Он женился на Шурочке так же вот по весне, в апреле. Звенела капель, были мокрые тротуары, поддувал ветер, пахнувший снежной тайгой и пихтами. Аким был тогда молодым, учился на втором курсе института. Мать, помнится, подарила среди прочего к свадьбе немецкий свитер с оленями, толстый и теплый, как печка. В этом свитере он и сфотографирован был с женой у двери кафе «Аист», где родня и знакомые пропивали жениха и кричали «горько!» Губы Шурочки были нежны и мягки, как цвет вербы. Под конец веселья какой-то двоюродный дядя запел протодьяковским басом частушки нехорошего содержания и выходкой своей несколько смутил общество, но охальника дюжие ребята вытолкали под дождь проанализировать свой грешок. Вернулся он вполне смиренный, мокрый и, утеревшись краем скатерти, начал, выказывая историческую эрудицию, рассуждать о морских сражениях с турками. Единственный инцидент был за всю свадьбу, да и тот замяли бдительные акимовские друзья. Хорошо погуляли, приятно. Правда, Аким рассчитывал, да и намекалось ему про то неоднократно, что, может быть, отец подарит молодым автомобиль «Москвич», который стоил

тогда совсем дешево, но манна с неба не свалилась — был лишь выделен денежный пай (половину наскребли Шурочкины родители, люди небогатые) на кооперативную квартиру (однокомнатную) и все. Никифор Данилович Бублик, отец, сыну на этот раз решил не потакать. На том и стоял непоколебимо.

...У газетного киоска Акиму Никифоровичу повстречался институтский однокашник, приехавший в город по делам из областного центра. Помянутый однокашник заведовал отделом в строительном главке и имел, по слухам, определенные перспективы в смысле продвижения дальше, потому как считался специалистом высокой руки. Имеющий к тому же, как принято говорить, недюжинные организаторские способности. В студенчестве однокашник по фамилии Иванов был активистом и учился на круглые пятерки. Встреча для Бублика была не из приятных, потому что Иванов жил в свое время лишь на стипендию, летом подрабатывал и по душевной доброте чертил за Акима все курсовые. По доброте душевной помогал и еще ради того, чтобы на факультете, согласно обязательствам, не было ни одного отстающего. Аким же, брось его на произвол судьбы, обязательно бы не справился с учебой по причине феноменальной нерадивости.

— Как она, жизнь? — спросил Иванов, глядя поверх головы Бублика с рассеянностью и легкой, кажется, досадой. Он вспомнил, как бесплатно обедал в столовой где мать Бублика работала шеф-поваром, и краснел, садясь за стол, как уходил из столовой сытый, но униженный. Вспомнил и заскучал.

— Преуспеваем?

— Это ты преуспеваешь, мы звезд с неба не хватаем.

— Кто же мешает — хватать?

— А руки коротки, старина.

— Да..

— Зашел бы как-нибудь на семью мою посмотреть?

— Благополучно выглядишь, Аким...

— Не жалуюсь. Так зайдешь? Можно сейчас прямо, без церемоний?

— Сегодня занят, вот завтра разве...

— Можно и завтра, только позвони предварительно,— Бублик знал, что Иванов не придет и не позвонит ни завтра, ни послезавтра. Никогда.— Запиши-ко адресок мой.

Иванов, блестя очками, полез в карман пиджака за записной книжкой. Бублик пальцем потрогал книжку:

— Где брал такую?

— Что?

— Блокнот где брал?

— Я же в Африке три года трубил, подарили. Это крокодилова кожа.

— Вот это да! — Бублик еще раз потрогал книжку с почтительностью и вздохнул: — Пиши.

Иванов записал, пожал Акиму руку и тут же исчез в толпе, словно боялся, что его тотчас же нагонят и силой поведут в гости.

Бублик пошел дальше, качая головой: он думал о том, что вот некоторых посылают в Африку, в Египет, на Кубу, его же никуда не пошлют, в Омск разве за битумом. «Тряпок, поди, навез Васька Иванов, на всю жизнь себя обеспечил и детей своих, если они есть у него, забыл спросить. «Волгу», поди, купил... Обязательно купил. Что еще надо человеку, живет теперь и в ус не дует». Бублик припомнил, что Иванов одет с этакой аристократической небрежностью и во все заморское. «Записная книжка у него на высшем уровне, ручка с золотым пером, ишь ты!» Акиму Никифоровичу захотелось в Африку, где слоны ходят, как у нас, например, собаки, где всегда жарко и произрастают всякие плоды, которые не попадают на городскую базу Горплодоовощторга даже по праздникам. Сердце Бублика защемило от зависти к благополучным и преуспевающим однокашникам и сослуживцам. Иванова того же возьмем. Этот все пять курсов института в дражных штанах просверкал, а вот поди ж ты — по заграницам.

шастает без трепета душевного, совсем это у него обыкновенно получается. Обнаглел Иванов: золотым пером пишет, и пиджак на нем с блеском, точно серебром осыпан, и очки шестигранные. Такие очки американские сенаторы-миллионеры носят.

Аким Бублик пересек улицу и сел в скверике на мокрую скамейку, чтобы всласть пожалеть себя.

Сквер был полон людьми.

Седая бабушка прогуливала мальчика, одетого в болоньевый комбинезон и потому похожего на космонавта, пенсионеры чуть поодаль шумно соображали на троих, напротив сидели в обнимку молодые — он и она. Она качала тувелькой, он крошил булку голубям, которые ходили по асфальту поступью сытых купчих. Солнце заваливалось за крыши, и на лужи легли кровавые его отблески, вода загорелась рубиновым огнем, запылала, колышима ветерком. Яркая рябь слепила глаза, потом она вдруг приухла, и в сквер легла тень больших тополей.

Мальчик-космонавт собирал меж деревьями прошлогодние листья и отвозил их на грузовичке в кучу, наметенную дворниками. Пенсионеры громко рассуждали теперь, где и как достать стакан.

Бублику вдруг тоже захотелось выпить, он поглядел на часы. Винно-водочный еще открыт, значит, можно купить бутылочку. А потом и домой. Жена Шурка проявит, конечно, нездоровое любопытство, по какому поводу, мол, водка на столе. Что ей сказать? По пути в магазин Аким стал придумывать повод для выпивки. Дорога была короткая, и ничего не придумалось.

Двери подъезда были растворены настежь, проход загородил серый грузовик, крытый и с надписью «мебель». Двери подъезда были подперты с обеих сторон кирпичами, и там, в темноватом нутре, запертом машиной, будто пробкой, слышался тугой мужицкий сап. Аким нырнул

было в дырку между дверьми и машиной, но ткнулся лбом в какой-то ящик и отпрянул, услышав к тому же ряд нехороших слов, произнесенных басом. На лавке у подъезда сидела пожилая соседка, отдаленно знакомая, рука ее лежала на пухлой продуктовой сумке.

— Тоже жду. Раскорячились и не торопятся!

— Подождешь, гражданочка! — сказал бас откуда-то, вроде бы снизу. — Мы тоже не на балалайке играем!

— У меня дети голодные сидят! — ответила соседка, поглаживая надутую сумку.

— Раньше надо было детей кормить, — посоветовала из-за машины женщина скороговоркой и, видать, сразу ушла. Дерзость эта всколыхнула соседку, она встала, вытянула руку и произнесла монолог насчет того, что если некоторым делать нечего, то лично она с утра до позднего вечера крутится как белка в колесе и не привыкла хвостом крутить. «Хвостом крутить тебе уже поздно, — подумал Бублик. — Старовата хвостом крутить». — И вслух сказал:

— Да вы не волнуйтесь, они быстро управятся. Переезжает кто?

— У нас вроде бы никто не собирался переезжать. — Соседка была не на шутку рассержена и больше, кажется, оттого, что проникновенный ее монолог был пущен на ветер. — Полчаса сижу, и конца не видать. Чего они там грузят, не пойму?

— Мебель, наверно, грузят.

— Значит, надолго. Если гарнитур еще... Теперь преогромные гарнитуры выпускают. Стенки там разные...

— У моего знакомого, — сказал Бублик, подобрев невесть с чего. — Арабская стенка имеется, так ее на двух «Кразах» не увезешь. Знатная вещь!

— И сколько стоит?

— Четыре тысячи вроде.

— И откуда у людей деньги! Четыре тысячи — это же надо! — Соседка часто замигала, готовая вроде бы тот-

час же заплакать.— Да мне за четыре-то тысячи век горбатиться!

— Я бы приобрел такую стенку,— сказал Аким Никифорович, стряхнув пушинку с брюк на колене и застенчиво потупившись.

Соседка тотчас же отодвинулась от Бублика, потянула за собой свою сумку с таким видом, будто опасалась, что этот холеный мужик с третьего этажа способен свистнуть ее молоко из сумки.

— Конечно, если деньги некуда девать...

— Деньги, они наживные.

Из подъезда чудом протиснулась женщина в каракулевой шубе и побежала, роняя заколки с волос, к кабине. Следом появился шофер, молоденький и в кожаной курточке, в фуражке с лаковым козырьком, он вытирал руки ветошью.

— Поехали, Петя! — крикнула веселым голосом каракулевая шуба и медведем полезла в машину.

— А Матвей Матвеевич как же?

— Он в кузове будет — последит, кабы не поцарапалось чего.

— Тогда поехали.

Акима Бублика, когда он поднимался к себе, угнетали сразу две заботы: первая забота состояла в том, что никак не вытанцовывался повод без скандала хватануть водки (день был, конечно, непутевый, без удачи день, но этого будет мало со спокойной совестью выставить на стол поллитровку), еще Аким Никифорович раскаивался, что ляпнул соседке насчет стенки стоимостью в четыре тысячи рублей, которую он не прочь купить. «Вот зачем, спрашивается, высунулся? — досадовал Бублик, морщась.— Счас сплетня поползет: мол, у пижона из двадцать второй квартиры нетрудовые доходы. На строительстве работает, значит, дефицитные материалы приворочивает, на сторону, значит, гонит вагонами».

Лестница была замусорена мятой бумагой, картонками из-под духов, цветными тряпками. Мусор этот заронил в душу легкое беспокойство, необъяснимое, но и настойчивое, порожденное догадкой, которая перерастала в уверенность. Бублик начал, побагровев, шагать через две ступеньки, на своей площадке запнулся о кошку. Кошка была плоская, будто вырезанная из картона, и длинный хвост держала свечой, лишь кончик хвоста, успел заметить Бублик, шевелился диковинным образом и мог даже изгибаться под прямым углом относительно тела. Упал Аким, слава богу, на мягкое место (успел изловчиться!) и пол-литра, славу богу, не расколотил. Встал, постанывая, хотел пнуть кошку со всей мочи, но животное встретилось не без понятия и не стало дожидаться расплаты.

Дверь квартиры была не заперта. Жена Шурочка в боксерском махровом халате, который Аким имел привычку надевать после ванны, мела веником прихожую и придерживала левой рукой груди, чтобы не вывалились из бюстгалтера. Шурочка пела песенку. В прихожей тоже валялся мусор: корбочки из-под духов, смятая бумага и яркие лоскутки.

— Чего это у тебя глаза белые? — спросила Шурочка и разогнулась, все придерживая рукой груди. На ней были Акимовы разношенные шлепанцы и шерстяные носки.— Ты с какого сучка сорвался?

— Ниоткуда я не срывался! — ответил муж с раздражением.— Ты, гляжу, веселая?

— Веселая! И причина есть! — Шурочка схватила драгоценного своего за рукав и сильно потянула в горницу.— Смотри!

Горница выглядела опустело, на побеленной стене осталось огромное синее пятно как раз на том месте, где стоял гарнитур. Хрустальная люстра величиной с добрую корзину казалась лишней и ненужной. На полу вдоль пустой теперь стены шевелилась паутина, катались лохматые шарики, на подоконниках была расставлена всякая посуда,

чайный и столовый, сервизы на двенадцать персон, подаренные еще к свадьбе. Этими сервизами Бублики пользовались в исключительных случаях и ради гостей исключительной нужности. Когда Быковых пригласали, например, то кофе разливался по чашечкам китайского фарфора. Посуда была до того тонкая, что просвечивала. Аким сердито пнул мячик, затерянный когда-то сыновьями, и вопросительно уставился на жену. Он еще на улице заподозрил, что Шурочка с присущей ей разворотливостью провернула какую-то махинацию, но он не мог предположить, что она спихнула кому-то немецкую стенку, добытую в свое время ценой немалой.

— Сколько взяла?

— Полторы.

Стенка стоила восемьсот рублей, и пользовались они ею лет, пожалуй, десять, если не больше. Фанеровка кое-где покоробилась, лак потемнел. Не новая, конечно, вещь. «И какой дурак полторы косых отвалил?» Аким еще раз пнул мячик, соображая, какой тактики на данный момент придерживаться. Пол-литра в кармане холодно и приятно давила на ребра, шептала, что неплохо бы и выпить, потому Аким решил на всякий случай сердиться и дальше, развязывая себе руки для действий, не подлежащих осуждению.

— Они с Севера приехали, обзаводятся. Денег у них — пудами.

— Это у кого же?

— Ну, которые купили. Мы в магазине познакомились, она и клюнула.

— Когда увезли?

— Да сейчас только.

— Я видел.

— Не рад, что ли?

— Кто тебя просил?

— Так арабскую купим, с музыкой! Ты к Зорину-то ходил?

- Ходил. Этот не поспособствует.
- Чего так?
- Идейный, видать. На козе к нему не подъедешь.
- И рыжий к тому же.
- Причем здесь рыжий?
- Рыжие-зла полны, проверено.
- Кто это проверял?
- Я проверял.
- Ничего тебе поручить нельзя — не мог как следует поговорить с человеком!
- Замолчи!
- Чего еще — замолчи! Ишь ты, генерал какой отыскался. Три стенки на складе, я узнавала, а ты губы распустил, слюняй!
- В ухо дать?
- Попробуй только, враз пятнадцать суток схлопочешь и с работы полетишь как миленький.
- Чего несешь! Чего плетешь? — По полу, открыл вдруг Аким, ползет муха. Она пробиралась по лохматой пыли и оставляла после себя дорожку — как бульдозер. Муха с нагрузкой не справилась, косо взлетела и пропала из глаз. «Весна, — подумал Бублик. — Живность вон просыпается». Этот очевидный факт почему-то успокаивал, и неприятные слова жены были пропущены мимо ушей.
- Жрать-то дашь чего?
- Не успела сготовить, сам видишь, чем занята была. Там сыр, колбаса, огурцы соленые остались. Перекусишь.
- Пол бы вытерла.
- У меня не десять рук!
- Полторы, говоришь, взяла?
- Мало тебе, что ли?
- А где еще тысячу сшибить?
- У отца твоего, где больше-то? Он что, деньги в гроб с собой класть собирается, что ли?

Планов отца на этот счет Аким не знал, но знал твердо, что ему, сыну, не отвалится ни копейки, хоть запросись, хоть на колени вставай, хоть тресни пополам.

— Не даст ведь! — с печалью сказал Аким и потрогал донышко бутылки в кармане пиджака.

— Мне даст.

— Тебе — может быть. — Шурочка имела подход к железному деду, она размягчала его неподдельным интересом к садоводству, выписывала даже журнал «Наука и жизнь», где на последних страницах печатались всякие хитрые советы насчет выращивания овощей и фруктов. — Тебе, может, и даст.

— Я сейчас же Быковым позвоню, — заявила Шурочка, садясь на стул. — Пусть на Зорина нажимают, проморгаем ведь стенку-то: с арабами у нас, говорят, нехорошие теперь отношения. А Наталья Кирилловна мне многим объясана.

— Ничего вроде отношения с арабами, — ответил Аким. — Они нефтью богатые. Хотя мебель от них не каждый день завозят. Выпить бы, умотался я. С устатка, а?

— У меня ничего нет.

У Шурочки всегда имелось спиртное, но бутылки она прятала с такой лиходейской изощренностью, что Аким после десятка тщетных попыток отыскать спрятанное занятие это бросил как безнадежное. В тресте есть один чудак, так тот приловчился: только жена за порог, он сейчас же команду собачке (собачку Мишкой звать) — Ищи; Мишутка, голова трещит! — Мишка швырь-швырь носом и побегал по комнатам. Найдет и лаем залыется. Распрекрасное дело! Аким одно время даже собирался купить или выпросить у кого-нибудь такую же собачку, но, во-первых, Шурочка восстала («не выношу запах псины!»), во-вторых, трестовский приятель отсоветовал затевать такую операцию: на дрессировку Мишки, сказал он, было убито три года и все одно мастерство кобеля еще под вопросом — самогон, например, он не берет или не хочет

братъ по причине исключительно мерзкого духа. И вообще в этой собачьей работе не исключен брак. Так что выгодней иногда утречком перебежать дорогу в магазин.

— У тебя есть, конечно,— сказал Аким со вздохом.— Но ты же не дашь?

— Не дам!

— Зато у меня есть, прикупил по дороге.

— Это по какому же случаю прикупил-то?

— Иванова встретил. Помнишь Иванова, он со мной в группе учился? Важный теперь человек, ручка у него с золотым пером и записная книжка крокодиловой кожи. Из Африки он только что.

— Кто из Африки?

— Ну, Иванов. Он все студенчество в драных джинсах проходил, а теперь весь с иголочки.

— Тебя вот никуда не пошлют.

— Я здесь нужней, Шурик.

— Ну, и что этот самый Иванов? — Шурочка сидела в усталой позе, опершись подбородком на руку, и недвижным взглядом смотрела в окно.— Иванов, говорю, причем?

— В гости собирался забежать, он начальник производственного отдела в главке. «Хочу посмотреть, Акиша, как ты живешь». Зашли, купили, а он вспомнил потом, что в другое место срочно ему надо. Адресок записал, телефон. Далек пошел Иванов-то. Мать моя все жалела его, все подкармливала...

— Мать твоя без выгоды никого жалеть не станет. Значит, выгода была подкармливать.

— Ты его не помнишь, Иванова?

— Не помню! — Шурочка закаменела в горестной и усталой позе. Аким тишком подался на кухню соображать насчет закуски.

Г Л А В А 6

Водка была теплая и отдавала бензином. «В цистернах они ее возят, что ли!? — сердито размышлял Бублик. — Им некогда цистерны полоскать, заразы!»

На улице зажигались фонари, горели они бледным светом, выбеливали окна, по стенам ползли, растекаясь, сплохи автомобильных фар. Слышно было, как под окном укладывались спать воробьи — они давно нашли там дырку и устроили гнездо. Через открытую форточку тянуло сырость.

Бублик хотел сбросить с души тяжесть, но тяжесть не уходила и хмель не бодрил. Мысли упорно возвращались к Иванову, встреченному на перекрестке среди людского потока. «Разбередил душу, пижон!» Зависть к благополучию однокашника имела, конечно, место но и не только зависть давила сердце, не уходило из памяти никак одно событие многолетней давности. Случилось это на выпускном вечере в большом зале городского ресторана. За отдельным столом на возвышении разместилось институтское руководство. Декан строительного факультета, профессор Кульков, осанистый и большой, с красным цветком в лацкане, вручал дипломы. Духовой оркестр играл туш. Раздавали дипломы по алфавиту, но Акима позвали предпоследним, когда оркестр уже наяривал вразброс нечто вроде краковяка и у декана в лацкане завял красный цветок. Потом начался торжественный обед и произнесено было немало хороших слов о назначении и роли строителя в нашем обществе. Васька Иванов высунулся со своей речью, когда народ уже загомонился, но скоро наступила тишина, потому что говорил Васька не в тон: он — каялся. Тут-то и узнал Бублик, почему он да еще Игорь Трегубов, сын видного человека, не по алфавиту, а позже всех получали дипломы. Оказывается, на заседании Государственной комиссии Васька Иванов, представляющий институтский комитет комсомола, встал и ляпнул, что они посове-

товались в своем кругу и хотели бы настоятельно просить уважаемую комиссию не давать дипломы двум лоботрясам — Акиму Бублику и Олегу Трегубову и не присваивать им звание инженеров, поскольку выпускать их — значит, идти на прямой и сознательный обман общественности. Среди высоких товарищей возникло замешательство. Все, само собой, имели представление, кто такие Бублик и Трегубов, но никакая власть и никакие полномочия, даже чрезвычайные, не могли в данную минуту зачеркнуть их высшее образование: ведь экзамены были сданы, защищены проекты и оценки были четко проставлены во всех ведомостях, скрепленных подписями и печатями. Иванову в его неожиданной просьбе, конечно же, отказали, но дискуссия в Государственной комиссии длилась целый день. Иванова убеждали на разные лады в том духе, что, с одной стороны, он безусловно прав, но с другой же стороны, безусловно, не прав.

Аким поначалу не разобрался, о чем идет речь — он еще до торжества успел накоротке хватить пару стаканов вина в буфете — но когда же до него дошла сквозь легкий шум в голове суть происходящего, он почувствовал, что уши его горят.

Ваську Иванова силой сажали на место, но он опять вставал и с пьяной настойчивостью желал закончить свое выступление. Иванов каялся в том, что тоже грешен: общественность поручила ему вытянуть Акимку Бублика во что бы то ни стало, он и тянул его все пять лет без перерыва. А зачем, спрашивается, тянул? И кого мы все вместе обманывали? В конечном счете, себя и государство. Обманули, а дальше?

Бублик, оскорбленный до глубины души, встал и, больно задевая колени сидящих в ресторанном зале, стал пробираться к выходу, надеясь втайне, что сейчас ему загородят дорогу, обнимут коллективом и утешат, но его не задержали и уговаривали больше для вида; и многие почувствовали себя спокойней, когда он ушел, придержи-

вая рукой твердые корочки диплома, спрятанного во внутренний карман пиджака. Настроение было праздничное, и никому не хотелось мучиться угрызениями совести.

В вестибюле ресторана швейцар с желтыми галунами на штанах, породистый и при усах, спросил участливо:

— Заболел. сынок?

— Голова что-то...— ответил Аким и покашлял в кулак, раздувая щеки с выражением крайней усталости.

— Учеба, она легко не дается,— сказал швейцар, перетапываясь у широких парадных дверей.— От таких нагрузок свихнуться можно — были случаи. Но теперь отдохнешь, сынок. Высшее образование — это ведь счастье.

Аким сунул швейцару три рубля в благодарность за сочувствие и решительно шагнул на улицу.

Ночью подморозило, лужи покрыл ледок, матовый по краям и черный в самой середке. Льдины напоминали морские раковины, разбросанные на пустыре за школой. Земля лениво дымилась оттаивая. Дома впереди качались иплыли в мареве, будто пароходы по утренней реке. Воздух был ядрен, резок и шибал в нос, как свежий квас.

Аким Бублик пересекал пустырь, направляясь к своему гаражу — к железной и неаккуратно сваренной кибитке. Вчера Шурочка дозвонилась до Наталь Кирилловны Быковой, и та посулилась нажать на мужа, чтобы муж, в свою очередь, нажал на рыжего Зорина насчет арабской стенки. Наталья Кирилловна советовала не прозевать момент: гарнитур, что ни говори, классный и охотников на него — море. Дознаются широкие круги насчет арабского поступления, от желающих отбоя не будет, и есть в городе люди поавторитетней того же Быкова и того же Зорина, тогда Бубликам отрежется перспектива. Встревоженная Шурочка прибежала на кухню и села напротив Акима Никифоровича, оголив белые статные ноги.

— Завтра надо ехать! — заявила Шурочка и прикрыла халатом свои ноги, слегка обиженная тем, что Аким смотрел в окошко, а не на нее.

— Куда это ехать? — Супруг перестал жевать, но от темного окошка взора своего не оторвал.

— К свекру на дачу.

— Отец разве уже на даче?

— Но ты прямо будто не здесь живешь! Он еще в феврале туда умотал.

— Что там зимой делать?

— Дела по хозяйству всегда найдутся. У него телевизор, печка газовая, книги, он не скучает, не то, что ты-бездельник!

— В ухо дать? — равнодушно предложил Бублик и опять отвернулся к окошку: он хотел покоя, потому что вынашивал план мести Ваське Иванову, встреча с которым колыхнула старое.

— Мне бы налил! — упрекнула Шурочка почти ласково. — Сам хлещет, а мне даже не предложит капельку.

— Пей, жалко, что ли.

Шурочка налила себе в стакан водки и выпила как заправский мужик — разом, запрокинув голову, — и сладила себе бутерброд с сыром. Шурочка давно разгадала одну особенность мужа: он всегда глухо восставал против ее начинаний. Это молчаливое сопротивление ее возмущало, как, впрочем, и многое другое. Шурочка давно поняла, что с женитьбой ей не повезло, она беспрестанно корила себя за то, что не поинтересовалась, когда надо, с кем связывает судьбу; ее, выросшую в простой семье (отец-слесарь, мать-уборщица) заворожил в перспективе диплом инженера и богатые костюмы Бублика, свел с ума красный мотоцикл «Ява», на котором подкатывал к галантерейному киоску, где она торговала мылом и бритвенными лезвиями, шикарный ухажер. Губы Акима Бублика всегда сочно блестели, будто он только что отобедал, со щек не сходил нежный румянец. Это было счастливое время в ожидании

еще более счастливых времен. Разочарование пришло не сразу, но оно пришло, когда на руках были двойняшки — Боря с Лене́й — и путь назад отрезало. Но Шурочка умела скрашивать свое горемычное житье. Она многое умела!

— Значит, завтра. Да пораньше.

— Куда?

— К отцу твоему на дачу — денег клянчить. Тысячу двести.

— Почему это тысячу двести?

— Двести на всякий случай: совать ведь кому-нибудь придется, даром никто не расстарается, первый день живешь?

Бублик заметил, что в поллитровке сильно поубавилось, и поторопился налить себе. Спросил с хмуростью:

— Может, у кого другого подзанять?

Шурочка шумно всплеснула руками:

— Давно знаю, что ты дурак, а привыкнуть к тому все не могу. Как отдавать будем, о том ты помнишь? У тебя оклад сто восемьдесят, и без премий ты со своим Быковым сидишь уже полгода.

— Быков тут ни при чем.

— Да мои сто шестьдесят. Холодильник «Бирюса» в кредит взяли? — Шурочка, гневно сузив глаза, начала загибать пальцы. — В кредит. Тахту румынскую в кредит взяли? В кредит. За хрусталь должны? Должны! Ковер опять в кредит. Хорошо это, что я в магазине работаю, кто бы тебе эти кредиты оформлял? Никто! Льва Толстого, писателя, в двадцати двух томах кто выписал? Я! Словарь писателя Даля кто выписал? Я!

— А на хрена нам этот Даль?

— Затем, что Быковы выписали! Наталья Кирилловна велела, она женщина образованная и зря не посоветует.

— Читать некогда...

— Бока на диване пролеживать тебе есть когда, читать тебе времени все не выпадает... Дети, может, читать будут

и умней нас с тобой вырастут, вот что. Нынче, Наталья Кирилловна говорит, шикарное приложение к «Огоньку» ожидается, тоже подписаться надо — мы разве хуже других? Опять деньги.

— Не хуже других,— сказал Аким с равнодушием и прицелился на бутылку: по его прикидке граммов двести еще оставалось — как раз хватит, чтобы поставить точку.

— Ты бы не пил больше,— посоветовала Шурочка вполне мирно.— Завтра ж тебе машину вести.

Бублик громко задышал носом и ничего не ответил, выказывая тем самым твердое свое намерение не отступить от цели. Шурочка зябко поводила плечами, запахнула халат на обширной груди и загорюнилась, глядя в темный угол. Она думала о том, что не живет на этой земле, а вроде отбывает срок наказания. И никакой отрадности впереди. У людей как-то все легко получается, у тех же Быковых, например. Захотели стенку купить — купили безо всякой натуги. За границу каждый год катают в круизы. Парень у них, Быкову не родной, учится на круглые пятерки, мусор выносит без ругани, тарелки моет, штаны себе гладит, не то, что Боря с Лёней — шалопаи. Не везет, не выпадают козыри.

— Где ребятишки? — спросил Аким, давась капустой.

— У матери твоей. Завтра возьмем их — хоть свежим воздухом подышат.

— Не возражаю.

Красный «Запорожец» катил по закраинным улицам большого города, мимо фабрик, особняков, заросших деревьями, мимо пустырей, где были разложены всякие стройматериалы. Кое-где стояли башенные краны. Шурочка, развалиясь на переднем сиденье, мешала переключать скорости, и Аким несколько раз шибко задевал кулаком ее колени. Сзади шебутились Боря и Леня — двойняшки,

остроносые и сероглазые, в одинаковых клетчатых пальтишках. Пацаны дышали в затылок отцу, тыкали пальцами по сторонам, дивясь переменам, происшедшим в городе с тех пор, когда они в последний раз ездили к деду на дачу. Они вспоминали, когда же ездили в последний раз? Боря говорил, что осенью ездили, Леня же говорил — весной. Боря говорил, что ездили просить денег на тахту, Леня точно помнил, что мать просила грошей-тугриков на ковер, который теперь висит у них в зале. Один помнил: дед дал ведро свежих помидоров, второй утверждал, что соленых. Если, значит, свежих дал, то была осень, если соленых — то весна была. Спор, как и положено, закончился потасовкой, и Боря поцарапал до крови ухо Лене. Или наоборот? Аким Бублик до сих пор плохо различал близнецов, к стыду своему. Он оправдывал себя тем, что редко видит детей дома.

— Как учеба? — поинтересовался отец и покашлял с солидностью. — Двоек много принесли?

— У них дневники незаполненные, — ответила за детей Шурочка. — Совсем их старуха разбаловала.

— Почему же это дневники незаполненные?

— Забыли! — сказали дети хором и опять пустились в спор: тахта румынская или ковер, свежие помидоры или соленые?

Подъезжали к будке ГАИ, монументальной, кирпичной, и с окнами на четыре стороны света в рост человека. Универмаг настоящий, туда бы, за стекла-то, манекены поставить, женщин в нижнем белье, веселая была бы витрина, но за стеклом маячила красная фуражка милиционера. Бублик сбавил газ и, можно сказать, прокрался мимо поста с потной спиной: остановит гражданин милиционер, сойдет с колокольни своей, заставит подышать в колбочку: тогда — дохлое дело, вчерашняя поллитровка даст о себе знать сразу! Слава богу, пронесло. Сейчас бугорок, за ним — трамвайное кольцо, еще километров пять асфальта, и дальше уж пойдет гравийка. Аким Никифорович успо-

коился и начал думать о том, что бы такое сказать назидательное детям своим. И сказал, качая головой:

— Мы дневники заполняли. Мы в строгости росли.

— Отец высшее образование получил! — подхватила Шурочка, ворочаясь на тесном сиденье. — А высшее образование даром не дается. Отец баклуши не бил во дворе, он уроки готовил. Он по специальности инженер-строитель. Эта специальность везде нужная, кусок хлеба всегда обеспечит. Ты ведь на «хорошо» и «отлично» учился, отец? — осведомилась Шурочка с подковыром.

Аким далеко бросил окурок, покосился на жену недобро и пробормотал стеснительно, что, дескать, всякое бывало, но в основном, если взять, то сносно получалось. Конечно, студенчество, например, и есть студенчество — золотая пора, молодость, соблазнов много: и на танцульки тянет, и в ресторан, но главное — это воля: есть воля, все получится, нет ее — пиши пропало.

— Слышали! — с бабьим коварством подхватила Шурочка. — Волю надо воспитывать неустанно. Отец у нас — волевой человек.

Дети возились сзади, будто мыши, и на мораль не реагировали. Шурочку такое невнимание задело:

— Ну, что молчите?

— Ничего.

— Как же это — ничего? С отца пример брать будете?

— Мы и берем, — в голосе Бори (или Лени?) была ехидца. — Бабушка нам даже расписание показывала. Папа уже в пятом классе по расписанию жил.

У Акима Бублика враз побагровела шея. «Старая дура! Надо же, сохранила бумагу, будь она неладна!» Еще промелькнула мысль о том, что вчера и сегодня как нарочно всплывают эпизоды жизни, о которых не хотелось бы вспоминать. «Старая дура!»

В пятом классе было? В пятом, кажется. Да. Встал вопрос в пятом классе, что называется, ребром: или Акима Бублика исключить из школы по причине его феноменальной

нерадивости, или перевести хотя бы классом ниже. Мать, Серафима Ивановна Бублик, директору школы чуть не выцарапала глаза. «Мой ребенок не глупей разных там очкариков, он наизусть стихи знает, у него память свежая. Думаете, если муж мой рабочий, так над нами изгаляться можно!? Думаешь, рѣз шляпу нацепил и штаны погладил, так тебе все дозволено!?!»

Директор, моложавый и кипенно седой мужчина с орденскими ленточками на лацкане хорошо пошитого пиджака, прижимал руку к сердцу, взывал к благоразумию («Здесь все-таки не базар, уважаемая!»), но впустую старался директор навести равновесие. Педсовет был шокирован, мать выскочила из кабинета с шумом и поволокла Акима прочь за руку, будто пустого, одела его кое-как в раздевалке, потом швырнула с высокого крыльца и пошла без оглядки, губы ее пузырились слюной, пуховая шаль сползла с плеч, обнажив тяжелый бугор искусственных волос, завернутый кренделями. Аким плелся позади и взвизгивал, как щенок. Матери вытье это опостылело, и через квартал, у трамвайной остановки, она отвесила толстому своему сыну такую оплеуху — «ирод проклятуший!» — что он едва не попал под копыта лошади с телегой, нагруженной пустыми ящиками. Возчик вздел коня на дыбки и погрозил матери пальцем.

В четвертый класс Акима не перевели исключительно в силу уважения к заслугам отца, как позже было объяснено, к тому же смягчить меру воздействия ходатайствовала общественность ОРСа, где работала Серафима Ивановна Бублик.

Неделю спустя после заседания педсовета в квартиру Бубликов нагрянули пионерские чины и сказали матери официально, что Совет дружины отныне и вовек берет Акима Бублика под свою опеку. Для начала пионеры во главе с тоненькой девочкой Таней, от которой почему-то всегда пахло ванилью, велели составить режим дня, потому как деятельность настоящего человека непременно

расписана по минутам, и примеров тому в истории — тьма. Одного утописта, например, аристократа по происхождению, слуга будил на заре словами: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!» Так разъяснила девочка Таня необходимость решительной реформы в повседневной деятельности Акима Бублика, еще не принятого в пионеры. Есть надежда, конечно, что он будет принят, если подчинится распорядку и по утрам начнет обливаться хотя бы до пояса холодной водой.

В тот момент, помнится, мать Серафима Ивановна достала по великому блату сыну велосипед марки ЗИЧ — шикарную машину с гнутым рулем, всю исключительно никелированную, с переключателем скоростей и пронзительным звонком, тоже никелированным. Когда Аким вывел свое чудо во двор, собралась толпа, и если бы не мать, надзиравшая с балкона за парадным выездом, велосипед бы, как пить дать, отобрали у толстого Акимки, такой эта машина была желанной и недостижимой для дворовой пацанвы. Один мальчишка, любитель всякой живности и знаменитый тем, что воспитал вороненка, умевшего говорить слова «здравствуй», «дуррак», «тарракан» и другие, предложил тут же Акиму со слезами на глазах, что подарит на время вороненка Гришку, если заполучит право кататься на ЗИЧе два часа в день. Сделка состоялась, и Гришка перекочевал в квартиру Бубликов. Несмотря на праздничное настроение по случаю приобретения велосипеда, Аким помнил про наказ девочки Тани мобилизовать волю и на обратной стороне плаката, купленного в книжном магазине (плакат был о пользе лесозащитных полос), кисточкой и красными чернилами сочинил программу жизни. Выглядела она в итоге так: 1. 7 ЧАСОВ — 7 ЧАСОВ 30 МИНУТ — ВСТАВАНИЕ, ОБЛИВАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ, ОДЕВАНИЕ. 2. 7 ЧАСОВ 30 МИНУТ — 8 ЧАСОВ 30 МИНУТ — КАРМЛЕНИЕ ВОРОНЕНКА ГРИШИ. 3. 8 ЧАСОВ 30 МИНУТ — 9 ЧАСОВ ТРИДЦАТЬ МИНУТ — ЗАВТРЕК. 4. 9 ЧАСОВ 30 МИНУТ — 11 ЧАСОВ — КАРМЛЕНИЕ ВОРО-

НЕНКА ГРИШИ. 5. 11 ЧАСОВ — 12 ЧАСОВ — ПРИГАТАВЛЕНИЕ УРОКОВ. 6. 12 ЧАСОВ — 12 ЧАСОВ 30 МИНУТ — ОБЕД САМОМУ И КАРМЛЕНИЕ ВОРОНЕНКА ГРИШИ. 7. 12 ЧАСОВ 30 МИНУТ — 1 ЧАС. 30 МИНУТ — ОТДЫХАНИЕ.

Дальше Аким по расписанию шел в школу. На вечер же он записал для себя лишь два пункта: КАРМЛЕНИЕ ВОРОНЕНКА ГРИШИ и ОТДЫХАНИЕ.

Один пионер из группы опекунов скопировал тишком эту программу дальнейшей жизни с изнанки плаката, и она лоявилась, к всеобщему удовольствию, в школьной сатирической стенгазете. С полмесяца Бублику не было житья: на него показывали пальцем в коридорах, ширяли под бока, повсюду его сопровождал громкий смех. Вмешалась мать Серафима Ивановна: она, во-первых, сорвала газету со стены, во-вторых, для утешения купила сыну фотоаппарат ФЭД и фотоувеличитель к нему. Что же касается вороненка, то он околел от перекорма, за что Аким был до крови бит во дворе.

Так обстояли дела с расписанием. Конечно, воспоминание это было не из приятных, Аким Никифорович притормозил у обочины, открыл дверцу и вышел на асфальт. Ночная наледь истаивала под весенним солнцем, дорога впереди кудрявилась парком, пашня неподалеку тоже брла усеяна дымками, на взгорке иглисто блестел сосняк. Дальше холмы были пестры, будто коровы. Аким пнул камешек и слушал некоторое время, скосив голову к плечу, чечеточный постук, с которым подпрыгивал камень, потом достал из кармана пачку сигарет и закурил.

Боря с Леней тоже выскочили на волю и начали пинать все, что попало под ноги, в том числе и половинки кирпичей. Из машины долго вызволялась Шурочка, опутанная шубой, губы она капризно надула.

— Чего остановился!?

— Подышать.

— Успеешь за городом надышаться. Развезет дорогу, как доберемся-то?

— Как-нибудь...

— Поторапливайся! — Шурочка тут же с потугами начала упаковываться в кабину игрушечного автомобиля, который сотрясался и приседал под ее тяжестью. Аким думал между тем: «Зачем, спрашивается, вылазила?» Думал так и глядел вдаль. Он надеялся, что свежий воздух развеет грусть-тоску, но настроение не поправилось, он сел за баранку хмурый. Шурочка разглаживала на коленях газету, вынутую из почтового ящика поутру, и, играя выщипанными бровями, читала заголовки.

— Все БАМ да БАМ. Помешались прямо на этом,

— Байкало-Амурская магистраль! — хором ответили мальчишки с заднего сиденья. — Стройка века огромной народнохозяйственной важности. Это мы проходили.

— Я там бывал, — сказал отец с оттенком гордости. — В командировках. Ничего, впечатляет. И снабжение хорошее: в магазинах только что птичьего молока и нет. Платят хорошо. Работать можно. Впечатляет.

— Зачем ты туда ездил? — спросили дети опять хором.

— По делам, по делам...

Некоторое время ехали молча, дорога шла под гору, машина подпрыгивала на выбоинах, незаметных глазу, вздрагивала, колеса шелестели ровно, по обе стороны дороги мелькали красноватые стволы сосен. Мокрый асфальт блестел как река.

Шурочка опять расстелила на коленях мятую газету, опять стала читать заголовки.

— «Слоны и Красная книга». И про слонов пишут, написали бы лучше, почему мяса нет в магазинах.

— У тебя-то мясо, мамочка, всегда в холодильнике есть, тебе-то грех жаловаться, — Аким Никифорович криво улыбнулся, глядя на дорогу. — Чего тебе страдать-то?

— Я достану. А другие?

— Другие тоже сами за себя беспокоятся.

Шурочка не нашла, что ответить мужу, лишь тяжело пошевелилась, растирая под шубой затекшие ноги: «Запорожец» был ей тесен, а на «Волгу» Бублики, что называется, не тянули.

— Отец! — Боря (или Леня?) похлопал Акима Никифоровича по плечу.— Слышь, отец! Чем африканский слон отличается от индийского, а?

— Чем-нибудь и отличаются...

— Чем же?

— Читал что-то такое... Забыл уж. Отличаются они, это точно.

— Отец у нас про слонов ничегошеньки не рубит! — закричали пацаны с некоторым даже восторгом.— Отец у нас зато инженер и по расписанию жил!

Бублик затормозил машину резко, повернулся на сиденье и, не разбираясь, кто это сказал — насчет расписания и прочего,— ударил по щеке наотмашь того, который был ближе. Он ударил Леню, а надо бы Борю, потому что именно Боря крикнул насчет того, что отец, мол, ни разу неграмотный. Голова мальчишки качнулась, будто привязанная на пружинке, и щека его сразу приобрела кумачовый цвет.

— Чего бьешь! — закричал сын пронзительно.— За что бьешь? Все равно не знаешь про слонов!

Аким Никифорович, разъярившись не на шутку, замахнулся во второй раз, но руку его, откинутую для удара, цепко поймала Шурочка.

— С ума сошел!?

— Вылезайте! — Бублик дышал сквозь сжатые зубы и со свистом.— Вылезайте оба. Вон трамвай. Кому сказано?

Сыновья, толкаясь, выскочили на обочину дороги. Леня, морщась, закрывал алую щеку ладошкой. Сыновья, тощие, оба в серых беретах, были похожи на грибы-опята.

— Дай им денег, и пусть катятся подальше, ну, кому сказано!?

Шурочка опять вылезла из машины со стонами и вздохами, долго. Аким Никифорович ждал с нетерпением, когда все это кончится, перебирая пальцами по баранке, обмотанной синей изоляционной лентой.

Сыновья получили три рубля на мороженое в виде компенсации за пощечину и побежали к трамвайному кольцу. Напоследок Леня обернулся, показал язык и крикнул отцу, приплясывая от сознания безнаказанности и от сладости мести:

— Ни разу неграмотный! Олух царя небесного, олух!

Аким догонять наглеца не стал, но запланировал для себя твердо по возвращении вплотную заняться воспитанием своих недорослей. Перво-наперво он наметил себе выдрать обоих армейским ремнем. Тут ему втемяшилось нехотати, что он давно этого самого ремня не видел в доме. «Куда он девался?» С этой минуты до самой отцовской дачи черная эта забота не отпускала его ни на минуту. «Куда ремень запропастился?» Шурочка молчала, вынашивая план реванша. Она знала, что сейчас вступать в перебранку по поводу расправы с сыновьями бесполезно, сейчас Бублик может даже поворотить назад и никаких денег таким образом не выпишется, зато уж потом она свое выместит сполна и жизнь этого негодяя обернется кислой клюквой.

«Запорожец» скатился с горы, миновал болотце, поросшее молодым ивняком, уже слегка задымленным весенними токами, миновал яму, заполненную желтой водой, потом был мостик без перил, и грязная дорога завихляла посреди деревеньки. То была умирающая колхозная деревенька, заполненная теперь вездесущими дачниками. Дачи строили разностильно, сообразно вкусам и возможностям: кто крышу вывел грибком, кто по-амбарному, кто сруб сложил из бруса, кто из круглого леса, кто сложил дом из кирпича и шлакоблоков.

Бублик остановил машину возле новых ворот у самой дороги. Ворота были покрашены зеленой краской, дом, засыпной и маленький, будто скворечник, стоял в глубине усадьбы, за кустами. Шурочка, брезгливо ступив одной ногой в грязь, сказала почему-то шепотом:

- Дым есть, печку топит, значит.
- Иди тогда.
- А ты?
- Я кой-куда сгоняю, часа через два подскачу.
- Всегда вот так получается — всегда я одна!
- Лучше будет, если я найду?

Шурочка понимала, что лучше не будет, если Аким пойдет: тогда, может случиться, дед обоих вышибет — он сына своего спокойно видеть не может, сын для него — будто красная тряпка для быка. Такой у старика характер: рассердить его трудно, но уж если рассердится, то на всю жизнь. Дачку-то покупал Аким (хотел вперед Быковых выскочить — Быковы только еще разговоры вели про то, покупать или не покупать). Купил задешево и не имел представления, что делать потом. Возил от греха подальше в запустение свое холостяцкие компании пьянствовать. Отец тогда и забрал усадьбу себе, подладил все тут и живет, почитай, круглый год, отгородившись от мира. Деньги заплатил, не рядился, сыну наказал, захмурев лицом:

— Чтоб ни ногой сюда, байбак пузатый! За что ни возьмешься, все опаскудишь, бездельник!

...Шурочка прихорошилась перед круглым зеркальцем, достала из сумки журнал «Наука и жизнь» со статьей о немецком опыте строительства каких-то особых грядок, вздохнула, закрыла глаза на минуту, сосредоточиваясь по системе йогов (одно время она посещала кружок, который вел при магазине инженер, побывавший в Индии и натасканный тамошними колдунами). Закрыла, значит, Шурочка глаза и побелела, шевеля запавшим ртом, будто умирающая.

В кружок йогов Шурочка малость не доходила, потому что Бублик запретил: преподаватель был мужчина знойный, а возвращалась с работы жена подозрительно поздно.

— Ну, все!

— Иди,— вяло напутствовал Шурочку Аким Никифорович, вспоминая мимоходом, куда запропастился армейский ремень с медной пряжкой.

— А ты?

— К егерю скатаю.

— Что еще за егерь такой?

— У которого зимой были — Мясоедов.

— Зачем?

— Много будешь знать, скоро состаришься.

— Дурак! — Шурочка пошла к зеленым воротам, полы ее шубы разметались, шагала она боком, словно норовистая лошадь на выездном кругу, из-под ее сапог шматками летела грязь. Бублик увидел: на ветку рябины у штакетника села птица, полосатая, как матрос в тельняшке, и с угольно-черной головой. Птица покачалась на ветке, взлетела и скрылась с глаз.

...Бородатый егерь Вася Мясоедов шевелил сено возле конюшни и гостю обрадовался:

— Тишина стоит — уши ломит, а тут на тебе — вполне живой человек! Чаю хочешь? Медовухи могу налить, хотя ты ж за рулем...

— За рулем! — скорбно и виновато ответил Аким Бублик, потирая руки и подвигаясь неуверенно в сторону конюшни: он сразу заметил собаку, следившую за ним от крыльца.

— К отцу ездил и подумал: «Мясоедов же рядом, почему бы и не навестить человека? Тем более дело есть».

— Вот видишь, и дело есть! — подхватил егерь и задрал к небу варначью свою бороду. Блеснули в улыбке его зубы. — И дело разрешим. — Он воткнул вилы в стог, спрятал верхонки в карманы старенькой фуфайки, подал гостю руку.

В горнице было тепло, сухо и пахло всякими травами. В сенцах Аким по примеру хозяина скинул сапоги и с удовольствием ступал по медвежьим шкурам, разбросанным в беспорядке. Вся горница сплошь была заставлена самодельными полками из строганых досок, а полки были полны книг, доски гнулись под их тяжестью. Такого и у Быкова нет.

— Читаем, значит?

— А что прикажешь делать — зима-то длинная, товарищ Бублик. Прости, все забываю, как звать тебя?

— Аким Никифорович.

— Аким Никифорович, дорогой. Зима-то длинная...

— Почему это все сразу забывают, как меня зовут? Вы не ответите на этот вопрос, Василий?

Егерь засмеялся глазами, тряхнул головой и потупился, раздумывая. Он стоял, опершись рукой на книжную полку в позе вольной и боком к гостю. Черная рубаха-косоворотка была расстегнута, обнажив сухую и волосатую грудь, рубаха пузырилась на спине, выбилась кулем из-под стареньких брюк.

— Чаю? С душиницей чай?

— Не откажусь — продрог что-то.

Василий ушел на кухню, погромел там посудой недолго, вернулся и опять фертом стал возле книжной полки, ногой попинал осторожно оброненный спичечный коробок и спросил:

— Какое же дело ко мне имеется?

— Вы на мой вопрос не ответили?

— Не знаю, как и ответить на него. Это не объяснишь...

— Вот и другие-прочие не знают, как ответить,— Бублик, посопешом, полез в карман за сигаретами, венский стул, на котором он сидел посреди горницы, громко закрипел.— А забывают. Это я давно заметил. Вы вот много читаете, у вас имеется образование какое-нибудь?

— Вышее.

— Почему же вы егерем работаете?

— Кем же мне работать, коли я по специальности — охотовед?

— Но ведь мало платят?

— Платят мало, это правда, но ведь не хлебом единым сыты бываем, дорогой.

— Так-то оно так...— Бублик не верил, что этот верзила ошибается при тайге бескорыстно: какой-то навар, и немалый, имеет, не без того. Дураков нынче нет.— Диссертацию, поди, создаете?

— Пишу.

Вася опять исчез на минутку, вернулся он с большой фарфоровой чашкой, которую держал обеими руками и ступал сторожко, закатив глаза под лоб. Чашка дымилась, по комнате разлился сладковатый дух.

— Пей. Може, за стол сядешь?

— Не, спасибо, я кружечку чуть-чего на пол поставлю, это ничего?

— Ничего, я тоже на пол ставлю.

— Мужики и есть мужики. Супруги вашей что-то не видать? И зимой я ее не видал?

— Без жены живу.

— Что так?

— Ушла. Скучно ей было.

— Да-а...— Бублик наметил для себя порассуждать о предательской женской сути, но рассуждать не стал, опасаясь ненароком обидеть хозяина: муж да жена — одна сатана. Егерь жег цыганскими своими очами, в которых были ирония и жалость. Так смотрят на шаловливых детей или на битых собак. Бублику взгляд этот шибко не нравился, тем не менее приступить к основному, как ни крути, надо: не из-за чая же семь верст киселя хлебал по мерзкой дороге!

— Так я слушаю?

— Вот что... Тут, конечно... Вы ж с охотниками знакомы, кхе. Охотники, они — народ особый, смелый, понимаешь. Ну, и это, шкурки всякие имеют... Соболей, например,

шкурки имеют и других куниц... Я лично в этих делах не очень кумекаю. Тут одна дама, она директором магазина работает, влиятельная дама, нужная и вам, между прочим. Так она просила...

— Вас понял, Аким Никифорович, и ничем помочь не могу — не хочу в тюрьму садиться, у меня на воле дел интересных много.

— Ага. Ну, ладно, коли так. Шкурки ж все одно на базаре тишком продают...

— Там и рекомендую купить.

— Ага. Спасибо. А дама, она все может: связи.

— Дама — не интересуется, Аким Никифорович.

— Ладно. С этим, значит, покончено,— Бублик утер потный лоб платочком и, выпятив губы, прихлебнул чаю из кружки.— Кому охота рисковать? Рисковать никому нет охоты. Но просила. Я ничего, конечно, не обещал, но зондировать не мешает. Значит, на базаре рекомендуете? А у кого спрашивать?

Вася молча пожал плечами: не имею, дескать, представления, у кого и как спрашивать.

— Ага. А диссертация у вас на какую тему?

Егерь Вася засмеялся коротко и провел пальцем за чем-то по переплетам книг, стоявших на полках аккуратно, будто солдаты в парадном строю.

— Сложное название, но в общем — о защите окружающей среды.

— В струе, тема: это модно теперь — окружающая среда.

— Это — актуально.

— Можно и так,— мирно согласился Бублик.— Не скучаете?

— Некогда скучать.

— Ага. У меня есть жена. У вас была жена, у меня есть. Не обижайтесь.

— Ничего, стерпим.

— Моя жена от меня пока не ушла и хочет иметь арабскую стенку, такую же, как у Быковых.

— А я тут причем?

— Вы не торопитесь. Так вот она хочет иметь в доме арабскую стенку, чтобы со звоном. Дверь откроешь в шкаф, и — музыка. Да, вспомнил: у меня же книжка в сейфе лежит, большой редкости книжка. Вам нужна? Она всем мужчинам нужна — «Женская сексопатология» называется. Надо?

— Нет, не надо.

— Жалко. Но я вам пригожусь, я сам-то по снабжению. Чуть чего — выручу. Стенки три на город всего, усекли?

— У тебя денег много?

— Денег нет, но займу, у отца хотя бы: раскошелится.

— Я с ним знаком, с твоим отцом — достойнейший человек. Труженик.

— Все так говорят.

— Я не понимаю...

— Не торопитесь, счас.

За окнами была дорога, обсаженная деревьями. По дороге кто-то проехал верхом на лошади, мелькнула шапка ушами врасык и смуглое нестарое лицо. Слышно было, как лошадь вытаскивает из грязи копыта: сперва копыта издавали мягкий стук, потом хлюпали. С таким примерно звуком вылазят пробки из бутылок.

— Слушаю?

— Вы с Зориным давно знакомы? С тем Зориным, который работает заместителем председателя горисполкома?

— Давно знаком.

— Так не могли бы вы в порядке одолжения позвонить ему и попросить арабскую стенку вроде бы для вас? Ну, а отдадите ее мне. У вас же нет денег? И никогда не будет, так?

— Наглец ты, однако, Аким Бублик! — Странное дело, егерь опять повеселел и потерял даже руки, вздымая бороду, — он смеялся, слегка подрагивая плечами. Разгадка этого неожиданного оживления состояла в том, что у Василия Мясоедова созревала мысль подшутить над заместителем председателя. Зорин шутник, но, как часто бывает, сам не любит, когда подтрунивают над ним, он сразу сердится. А тут вот как раз удобный случай подвертывается «купить» рыжего проказника.

— Но он ведь не поверит!

— Чему не поверит? — Бублик допил чай, шумно вздохнул и поставил кружку к ноге.

— Что именно мне стенка нужна.

— А вы изловчитесь.

— Какой же мне интерес хлопотать за тебя?

— Шифер нужен?

— У меня крыша хорошая, в прошлом году перекрывал.

— Но что-нибудь да нужно?

— Ничего такого вроде не нужно. Ну, хорошо. Завтра буду в городе — позвоню Зорину. — Мясоедов неудержимо смеялся теперь тихим смехом. Бублику смех этот досаждал, и он заспешил уходить.

ГЛАВА 7

Заместитель председателя горисполкома Олег Владимирович Зорин, одетый в синий спортивный костюм, заменяющий пижаму, лежал на кровати в номере гостиницы «Россия» и, шевеля губами, читал официальную бумагу, адресованную в серьезную инстанцию. Завтра предстояла ответственная встреча в кабинете, упоминая о котором в разговоре, обычно показывают пальцем на потолок и обозначают словом «там». Как там решат, что там ответят? Олег Владимирович приехал в Москву хлопотать о троллейбусе: городу нужен был троллейбус, и сроч-

но, чтобы разгрузить общественный транспорт. Оно бы не мешало и метро иметь, но до метро у города, что называется, нос не дорос. Читая, Зорин споткнулся на глаголе «изыскать». Глагол не понравился своей легкомысленностью. Создавалось впечатление, что столичные товарищи только тем и занимаются, что изыскивают и находят. «Найти можно, например, кошелек на дороге,— думал Зорин и прикусывал карандаш во рту.— Но миллионы на дороге не валяются». И хотел было зачеркнуть это самое «изыскать» и не нашел ничего взамен. С праздною вялостью пришло на ум следующее соображение. «Не мной придумано, пусть, значит, так и остается. Пива выпить, что ли?» Пиво стояло в холодильнике, но вставать не хотелось — день выдался беготной, мозжило ноги. За окном вечерело помаленьку, и где-то в далекой дали, словно елочные блестяшки, прокалывались бледные и острые огоньки. Город бескрайне переваливался за горизонт. Зорин вытянулся на застеленной кровати и закрыл глаза, наслаждаясь покоем. Он в то же время с некоторой тревогой размышлял о том, что с минуты на минуту должен явиться сосед по номеру, толстый восточный человек с никлыми усами, коровьей тоской во взоре, и начнется черт знает что. Опять будут звонки куда-то и откуда-то, опять, перемежая русскую речь с какой-то другой, сосед начнет жаловаться на то, что он просил убедительно, но ему не дали, что просил изыскать, но тут не хотят изыскивать, что арматура и уголок по всей стране «дефицит» и командировка его, по всему виду, не имеет перспективы. Потом, ночью, сосед будет разговаривать по телефону с женой и будет вздыхать так тяжело и так глубоко, будто скорбь его простирается на все человечество. Но самое страшное будет ночью: стоны, мокрые шлепки губами, зубовой скрежет и могучий храп. Потом восточный, или азиатский, человек станет пить минеральную воду из горлышка бутылки, производя шум средних размеров плотины в тот момент, когда на плотине поднимают шлюзы. Зорин задремал,

прислушиваясь к шагам в коридоре, и тут зазвонил телефон на тумбочке в изголовье. Сейчас спросят, не здороваются:

— Курбатов иде?

Но телефонистка тревожной скороговоркой осведомилась:

— Проят Зорина. Есть Зорин?

Олег Владимирович долго и натужно искал в памяти, кто же такой Зорин, наконец, догадался, кто это такой, и ответил:

— Я и есть Зорин.

— Энк вызывает.

— Хорошо. Спасибо.

Звонил управляющий трестом Гражданстрой Феофан Иванович Быков. Поздоровались. Быков затем важно помолчал.

— Как там погода у вас?

— Ничего погода,— ответил Зорин, садясь в постели. Он заглянул на всякий случай в большое гостиничное окно, чтобы не соврать насчет погоды, но ничего, кроме синевы и огней, не увидел.— Давеча шел, так мокро было. Но ничего, тепло в общем-то. И скользко. Люду здесь много.

— Люду там много,— сказал Быков опять с важностью.— А у нас холодновато, понимаешь. Здоровье-то как?

— Да, ничего, слава богу, терпимо.

— А у меня зуб болит,— сказал Быков.— Ночь не спал.

— Пойди в больницу да вырви. Зуб то есть.

— Вырвать, что ли, в самом деле?..

— Вырви, конечно!

— Супруга вот тут привет передает, Наталья моя.

— Спасибо. И ей привет.

— И тебе спасибо,— Быков затяжно и обреченно как-то поспеел в трубку.

— Зачем звонишь-то?

— Дело есть, понимаешь. Неотложное в некотором роде.

— Слушаю.

— Насчет зуба я тебе жаловался? Напасты!

— Жаловался! Сочувствую. Тебе денег не жалко разве — мычишь, как теленок некормленный, а деньги, государственные, между прочим, капают?

— Я на свои Москву заказал, не на трестовские, так что успокойся.

— Про зуб я уже слышал! И про погоду: весна, а холодно.

— А я только хотел про погоду. Наталья вот привет тебе передает.

— Тоже слышал! — Зорин переступил ногами и крепко дернул себя за рыжий чуб.— Я про все слышал, только самого главного не слышал!

— Да ты не серчай, пожалуйста, с мыслями никак собраться не могу.

— Случилось что-нибудь, так говори — не слабонервный!

— Ничего такого не случилось, Олег. Что может случиться? Ты не торопишься?

— Не тороплюсь!

— Тогда я приступаю. Наталья вот еще под ухо зудит, сбивает, понимаешь. Ты у меня стенку видел?

— Какую еще стенку?

— С музыкой которая? Дверцу в платяной шкаф откроешь, музыка наяривает. Ты же на дне рождения был у меня?

— Был, вспомнил. Арабская, что ли?

— Вроде бы арабская. Может, и не арабская... Так мне еще одну такую надо.

— Чего надо?

— Стенку еще одну — арабскую.

— Причем здесь я?

— Позвони в торг, пожалуйста, пусть оставят до твоего приезда.

— Ты мне, брат, совсем голову заморочил! Зачем тебе еще одна стенка, куда ее пихать станешь?

— А я разве сказал, что мне нужна? Вроде бы я не говорил, что именно мне? Бублик просит. Он тоже на дне рождения был, румяный такой. И — толстый.

— Не помню...

— Да ты что! Румяный такой, все время улыбается? Он еще, когда в бане парился, сверзился в речку, на вожже его вытаскивали?

Зорин вспомнил: действительно, все время улыбается. Вспомнил, как этот самый Бублик ворвался в кабинет, как развязно сел под фикус в углу, заложив ногу на ногу, как стал качать туфлей на высоком каблуке... Зорин подумал, что фикус надобно обязательно из кабинета убрать, несмотря на протесты секретарши, а румяного Бублика за порог кабинета больше не пускать, чтоб и духу его близко не было. В трубку Зорин сказал:

— Слушаю.

— Позвонишь в торг?

— Насчет чего?

— Ты пьяный там, что ли? Насчет стенки!

— Я через два дня дома буду.

— Расхватают же!

— Чего расхватают?

— С тобой сегодня невозможно разговаривать! Стенки расхватают, арабские, которые музыку наяривают «Не брани меня, родная».

— Ты свою отдай этому самому Бублику.

— Я уже предлагал, да Наталья моя вздыбилась, говорит: кто же подарки продает. Позвонишь? Или я от твоего имени позвоню: скажу — велел пока на складе придержать, приедет — распорядится?

— Сам распоряджусь, ладно уж.

— Ну, спасибо! Выручил, понимаешь. Тут обложили ме-

ня, как медведя, спасу нет, работать не дают. Ну, будь. Ждем. С меня, значит, коньяк.

— Ловлю на слове.

Зорин положил трубку телефона и подошел к большому окну. За окном была уже плотная синь, погустели и городские огни, их было много, будто песка в пустыне, и они были разные — белые, рубиновые, красные, зеленоватые. Они мерцали, а на самом окаеме этого безбрежного моря клубилась и вздрагивала дымка, состоящая из серебряной и золотой мельчайшей пыли. Дымка еще была похожа на вздыбленную конскую гриву. Зорин, не отворачиваясь от окна, нащупал дверцу холодильника и достал бутылку пива, из тумбочки взял перочинный нож, снял железную пробку, выпил пару глотков из горлышка, слегка задрав голову. Зорин уже забыл про Быкова, про стенку и не принял просьбы всерьез, он понял, что на Быкова надели бабы, иначе тот бы не пошевелил пальцем ради такого зряшного дела. Быков — мужик обстоятельный.

Опять зазвонил телефон. Звонил он так яростно, что, кажется, даже подпрыгивал. Опять дамочка с междугородной тревожной скороговоркой потребовала товарища Зорина. «Кто там еще на мою голову?»

На проводе был егерь Василий Мясоедов. Олег Владимирович тяжело вздохнул, потому что чувствовал перед егерем вину: давно обещал купить ему в Москве электрорубанок и бензопилу. Договаривались так: Зорин шлет телеграмму, Вася шлет телеграфом деньги. Однако Зорин, замотавшись в Москве по министерским кабинетам, забыл о наказе, потом утешал Мясоедова: дескать, командировки подворачиваются каждый месяц, так что успеется, дай бог, живы будем, не помрем.

— Слушаю?

— Ты не вздрагивай! — сказал Мясоедов веселым голосом. — Ты себя успокой.

— Я не вздрагиваю. И по какому поводу я должен себя успокаивать?

— Становишься типичным чиновником: язык твой длинный, дела твои короткие.

— Извини, друг, замотался я, честное слово! Завтра у меня после обеда время будет, вот и побегаю по магазинам. Спрашивал тут кое у кого: рубанки бывают, с пилами похуже, но тоже бывают.

— Ладно, я тебя прощаю. По другому поводу звоню. Ты на дне рождения у Быкова Феофана был?

— Был.

— Стенку видел у него? Заморская стенка, с музыкой? Наталья ему подарила. Мне такая же нужна!

— Она же в избу твою не влезет, Васенька.

— То уж не твоя забота.

Зорин был человеком болезненно совестливым, и просьба егеря застала его врасплох.

— Как же получается, Васенька? Я же, ты знаешь, противник всяких там шухеро-мухеров, и мне неловко будет людям приказывать... Такое дело.— Зорин вынужден был отнести трубку от уха: Мясоедов закричал так, что, наверно, голос его был слышен в коридоре.

— Ишь какой, ты меня не спрашивал, удобно мне или нет с тобой по тайге шляться? Охотник ты никудышный, и сколько я времени дорогого потратил, тебя натаскивая, а?

— Много времени ты на меня потратил, Васенька, и за то я тебе очень благодарен, можешь мне поверить!

— Твою благодарность в карман не затолкаешь!

— Понимаю...

— Ничего ты не понимаешь!

— Попытаюсь, Васенька...

— Я должен твердо знать — «да» или «нет»!

— Ты меня за горло берешь, это неприлично!

— Переживешь!

— Оно конечно...

— Ну?

— Зачем тебе эта шикарная поленица? И денег у тебя, поди, нет? Откуда у тебя деньги? Ты же бессребреник, книгочий, интеллеktуал.

— Может, я жениться хочу, во второй раз, и хочу жену свою осчастливить мебелью, которой ни у кого нет. Гарнитур песню играет, подумать только! Фуфайку я, допустим, вешаю, а мне — музыка! Сразу настрой другой, а? Или жена халатик вешает, а?

— Оно конечно...

— Заладила сорока про Якова! Мне твердый ответ нужен!

— Я через два дня дома буду...

— А я твердо знать должен — «да» или «нет»!

— Хорошо, позвоню, велю придержать эти стенки, будь они прокляты!

— Давно бы так! Погода там ничего?

— Ничего.

— У нас подморозило вдруг.

— Все у тебя? И как ты, Васенька, мой телефон нашел?

— Так всё. А насчет телефона — секрет. Секрет. Вник?

— До встречи, значит.

Зорин допил пиво, размышляя с некоторым раздражением о том, куда податься ужинать — в буфет на этаже или же в ресторан. Тут явился сосед, шумно разделся в прихожей и, забыв снять шапку, в ботинках добрел до кровати, сел немощно, со вздохом, поставил телефонный аппарат себе на колени, и закрутилась машина. Олег Владимирович почему-то крадучись собрался, завязал галстук перед зеркалом и по бесконечному гостиничному коридору подался в буфет. Мягкий палас под ногами раздражал, возникло желание притопнуть на ходу, чтобы услышать звук собственных шагов и почувствовать свое пребытие на этой земле. Заместитель председателя вдруг загорюнился от мысли, что по возвращении с ужина ему придется, как ни крути, хлопотать насчет треклятой стенки,

звонить начальнику торго (обещано ведь!), и решил раз-
везать грусть рюмкой чего-нибудь покрепче.

Зорину приснился сон чудного содержания: будто он с егерем Васькой Мясоедовым идет брать медведя в берлоге. Бредут они будто рядышком по глубокому снегу, Мясоедов тепло дышит в ухо и говорит такие слова: «С ружьем всякий дурак медведя завалить может, ты вот рогатиной испробуй, покажи удаль молодецкую, как предки наши славные ее показывали. Я тебя уважать перестану, если ты ружье употребишь». Ожигая по-прежнему ухо горячим своим дыханием, Вася будто протягивает Зорину кривую рогулину со словами «Березовая, сам вырубал. Сдюжит, она крепче железа». «А ты где будешь?» — спрашивает Зорин. «В стороне постою». «А что будет, Вася, если медведь меня возьми да и задержи?» «Ничего особенного не случится: другого депутата на твою должность выдвинут — свято место пусто не бывает». «Оно так, Василий, да нет у меня охоты бездарно помирать. На днях распределение жилфонда, все списки в столе у меня, люди без квартир ведь останутся?» «Что, в штанах у тебя уже тепло сделалось?» «Ничего не тепло у меня в штанах, Вася!» «Тогда — вперед!»

На снежном бугре видит Зорин, на самой его верхушке, обледенелую дыру, оттуда поднимается пар, как из бани. Под снегом, значит, спит зверь невиданных размеров и силы. Потом в сне появилась какая-то неясность, темный провал получился. Вроде бы Васька Мясоедов совал в дыру, из которой прямо и туго бил пар, жердь. Или вроде они обедали сперва перед берлогой для успокоения духа, даже пили что-то из солдатской фляжки, и егерь вроде бы утешал Зорина в том духе, что самое главное для настоящего мужчины — это преодолеть страх. На ветке рядом сидел снегирь, красный, будто елочная игрушка. Жить было хорошо, но егерь Васька Мясоедов требовал подвига. Потом, как говорят, во весь экран оскалилась смрадная пасть медведя. На одном клыке, правом, успел заме-

тить Олег Владимирович, была золотая коронка. «Медведь-то зажиточный»,— подумалось мельком, и оглушительный рев, исходивший из пасти, заглушил все. Он катился лавиной, он сотрясал.

— Сюшай, тэбя к тельфону, эй!

Проснулся Зорин в поту и тряской рукой долго вышаривал выключатель на торшере, не замечая, что в номере горит свет. Восточный человек сидел на своей кровати и тянул соседу телефонную трубку. Усы восточного человека, смятые сном, были похожи на маленькие веники.

— К тельфону, эй товариш!

— Спасибо, уважаемый.

— Пжалста.

Звонила жена Катя. Голос ее доносился неясно, будто шорох осенних листьев. У Зорина екнуло сердце: жена, тихая в повседневности женщина, зря беспокоить не станет. Сон-то в руку: недаром медвежья пасть маячила шире ворот, да еще с золотой коронкой на клыке. Что-нибудь определенно дома стряслось, не иначе. Катерина сперва тоже расспрашивала о погоде в Москве. «Готовит,— думал Зорин.— Бойтся сразу выложить». Наконец с погодой было покончено и наступила тягостная пауза.

— Ну! Чего замолчала, выкладывай?!

— Сколько времени в Москве, Олежек?

— Московское время можно по «Маяку» узнать. Включи радио! Поздно в Москве, ночь, понимаешь, глухая!

— Извини, дорогой!

— Тут люди спят, понимаешь! (Сосед по номеру ворочался и жалостно постанывал.) — Я людям спать мешаю!

— Извини, Олежек... Как твоё здоровье?

— Нормальное здоровье. Ты смелей, чего там у вас?

— Где?

— Дома. Дети здоровы?

Дети были взрослые, сын и дочь, и давно жили в других городах, имели свои семьи.

— Никаких известий не получала, значит, все в порядке.

— Тогда зачем разбудила?

— Видишь ли, одни тут знакомые... Я тебя впервые прошу, дорогой. согласишься, впервые, так ведь?

— Может, и так, не считал. В чем дело?

— Одни мои знакомые, ты их вряд ли знаешь, вполне симпатичные люди...

— Верю!

— Так они убедительно просят достать арабскую стенку. На складе, говорят, еще есть, стенки-то.

— Дура ты старая! — раздельно и громко сказал Зорин, косясь на спину соседа, широкую и рыхлую, потом заорал, поднимаясь во весь рост и краснея: — Дура!

Жена заплакала скромно (она и плакала скромно) и отключилась. Зорин слушал некоторое время частые гудки и сел на кровать, испытывая раскаяние. Тут же в его душе возникло желание творить добро, сперва Олег Владимирович порывлся в записной книжке, нашел домашний телефон начальника городского торгового центра, заказал междугородный разговор и стал трясти соседа за плечо:

— Товарищ! Товарищ!

Восточный человек сел, глаза его были шибко затуманены сном, усы торчали неаккуратно, волосы на голове были осыпаны пухом от подушки.

— В чэм дэло?

— Я в буфете прихватил бутылку кубинского рома, выпьем по рюмочке?

— Зачэм?

— Потом все объясню.

Выпили, заели конфетами из коробки.

— Какой уголок вам нужен, товарищ, простите, не знаю, как вас зовут? Соседи вроде...

— Курбан Курбанович.

— Сколько вам нужно уголка, разрешите поинтересоваться?

— Тридцать тонн,— эти слова сосед произнес без акцента.

— Вы какую организацию представляете?

— Колхоз. Туркмэнистан.

— О, солнечный Туркменистан. Достану я вам уголок. Документы в порядке?

— Да.— Курбан Курбанович, задурманенный сном, еще не вполне четко осознавал реальность происходящего. Наконец, мало-помалу до него стало доходить, что этот рыжий мужик обещает каким-то способом выручить — достать металл, нужный колхозу до зарезу. Неужели счастье так близко? Курбан Курбанович украдкой вытер пот со лба и засопел с присвистом.

— Еще по махонькой? — веселя, осведомился Зорин.— Вы не удивляйтесь: город, откуда я сюда приехал, производит уголок в больших объемах, у нас два металлургических завода, и тридцать тонн для нас — тьфу! — Для убедительности и пуще наглядности Зорин сделал вид, что плюнул. Эта демонстрация не очень, однако, убедила посланника солнечного Туркменистана в том, что рыжий мужик обладает магической силой, что он, несмотря на отказ московских чиновников, вырешит уголок. Восточный человек в детстве читал много сказок, но, повзрослев, в чудеса решительно не верил. На всякий случай представитель туркменского колхоза сказал:

— Нэ обыжу!

Зорин легкомысленно отмахнулся:

— Вот это, дорогой, уже совершенно лишнее! Еще по маленькой? Все равно ночь не спать, была не была! Да, ведь я не отрекомендовался! Звать меня Олег Владимирович. За знакомство, значит?

В городе Энске, за тысячи километров от Москвы, утром следующего дня (Зорин и его новый друг Курбан Курбанович еще досыпали остаток ночи) ничего существенного не произошло, за исключением того, что началь-

ник торга вышел на работу с тяжелой головой. Начальник сел за свой стол в кабинете и сразу вызвал руководителя отдела, ведающего мебелью и промышленными товарами:

— Иван Иванович,— сказал начальник, нагнав на лицо выражение значительности.— Там у тебя вроде бы стенки какие-то поступили, вроде бы даже арабские или греческие? С музыкой даже?

— Точно ответить не могу, накладные надо бы посмотреть, но, кажется, есть такие, слышал мимоходом.

— Мне бы точные сведения.

— Есть арабские стенки. Точно.

— Значит, мое указание будет такое: ты эти самые стенки спрячь до случая, чтобы ни одна живая душа не знала про них. Не моя воля, между прочим...

— Чья же?

— Зорин ночью звонил из Москвы.

— Даже ночью?

— Да. И велел спрятать.

— Зорин понапрасну звонить не будет.

— Тоже думаю. Человек он солидный. Он сейчас троллейбус для города выбивает.— Начальник торга посмотрел на подчиненного снизу, из-под очков, с интригой и таинственностью.— Так что ты за эти стенки головой отвечаешь, понял?

— Как не понять!

— Выполняй!

Заведующий ушел из кабинета озабоченный. Он не мог понять, какой нитью связаны между собой троллейбус и арабская стенка, и не решился спросить о том начальника, вполне допуская, что начальник в курсе, но заведующий глубоко заблуждался: его шеф тоже напрягал небогатые свои детективные способности и не мог свести концы с концами.

Директор металлургического завода тоже не выпался и был хмур с утра. Он сел в кресло и скомандовал в селектор:

— Мне со сбыта кого-нибудь.

Через минуту будто по щучьему велению перед директором предстал молодой товарищ с деликатной бородкой клинышком в стиле народовольческих теоретиков конца прошлого века. Не хватало пенсне с цепочкой по скуле, но и пенсне будет лет этак через десяток, когда укатают сивку крутые горы. Молодой товарищ держался неробко и сел без приглашения.

— Отгрузишь тридцать тонн уголка вот по этому адресу.— Директор подвинул пальцами бумажку, вырванную из записной книжки, на край полированного стола, ее ловко поймал представитель отдела сбыта, положил на ладонь, прочитал, слегка шевеля губами: «Туркменская ССР, колхоз «Пятилетку — в четыре года», и поднял на директора невинные глаза, пожимая плечами. Директор рассердился:

— Ты на меня не смотри так, я тебе не зеркало! Понимаю — незаконно, но звонил Олег Владимирович Зорин из Москвы, он троллейбус для города выбивает. Это его личная просьба. Я сам, если честно, не могу понять: причем здесь туркменский колхоз, но ему (директор усталил воздетый палец в потолок) там — виднее.

— Хорошо, отгрузим.

— Действуй. Зорин — мужик деловой, он в столице не баклуши бьет, дела делает.

— Понимаю. Но мне бы письменное ваше распоряжение. Документ нужен.

— Мое слово — не документ разве? Счета они оплатят немедленно, Зорин гарантирует.

— Зорин-то гарантирует...

— У меня все!

Еще через день после упомянутых событий, ближе к вечеру, пассажиров в порту Домодедово долго забавляли два человека. Один был рыжий, высокий и вполне респектабельного вида, с чемоданчиком свиной кожи в руке. Чуб этого мужчины выбивался из-под берета, будто язык пламени. Рыжий напоминал чем-то, несмотря на модную и дорогую одежду, постаревшего сельского гармониста времен коллективизации. Второй был явно восточный товарищ, казах или туркмен, в осеннем пальто, без головного убора, и главное, что привлекало внимание скучающей публики, восточный человек был в пижамных штанах, удручающе коротких. Между штанами и штиблетами проглядывали волосатые ноги. Эти двое приехали в Домодедово слегка навеселе и после еще два раза заходили в буфет. Они встали на самом потоке, их задевали плечами, их толкали в спины, рыжий без конца извинялся за то, что его толкали, но не терял нить разговора. Он спрашивал своего приятеля с малыми паузами:

— И почему, Курбан, я раньше тебя не знал?! Ведь неделю жили в одном номере и даже словом не перекинулись, надо же!

— Спасибо, Олэг! Ты меня вырчил. Уголок коьхоз полущит?

— Ты не сомневайся, Курбан! Ты же слышал? Ты же все слышал. Не сомневайся, Курбан!

— От спасибо!

Рыжий так воодушевленно жестикулировал, что привлек внимание милиционера, который протолкался сквозь людской поток, подошел к тем двоим вплотную, взял под козырек, а когда же увидел, что восточный гражданин натурально в пижамных штанах, отнял руку от козырька и пещально покачал головой.

— Вы не беспокойтесь! — сказал рыжий, тряхнув огненным своим чубом (милиционер от чуба с опаской отстранился). — Он сейчас на такси сядет и в гостиницу сразу, он смирный и стеснительный. Показать документы?

Документы милиционер смотреть не стал, но опять взял под козырек и присоветовал тем двоим спятиться куда-нибудь в уголок. Они спятились, но разговаривали по-прежнему громко, привлекая внимание. Рыжий упорно звал приятеля в гости для того, чтобы поохотиться на медведя, может, даже с рогатиной,— по старинному русскому обычаю и для проверки на мужскую прочность. Смуглый от медвежьей охоты деликатно отказывался, ссылаясь на то, что не умеет и не любит убивать.

— Стенку арабскую хочешь?

— Как это — стенка?

— Ну, мебель такая. Она даже с музыкой. Дверцу открываешь халат, допустим, вешать. У тебя дома есть халат?

— Обязательно!

— Так вешаешь ты, допустим, халат, а тебе музыка наигрывает. Приятно! К нам поступили такие стенки. Хочешь?

Курбан Курбанович скороговорку Зорина понимал с трудом и, склонив голову, стал над последним предложением основательно думать и тут для многосотенной аудитории развернулся стремительный финал недюжинных событий, проистекавших до самого отлета рыжего: многие через окна наблюдали, как к порту подкатило такси, из него вылез мужчина в стеганом халате до пят с маленьким лицом лимонного цвета и, взвалив на себя разом два рогожных мешка, которые мужчину сильно пригнули, скорым и мелким шагом побежал к дверям. Из зала ему уже махал рукой приятель рыжего. Мешки, спустя немного, стояли на полу, и Курбан Курбанович с медленным поклоном варяжского гостя из оперы сказал, блестя раскосыми глазами:

— Тэбэ, Олег. Урук, вино сладкое. Яблоки.

— Да вы что, ребята! Куда я с этой дерюгой?

— Обидышь, Олег! Оч нехорошу будет!

— Да кто меня пустит в самолет? И денег у меня нет уже багаж оплачивать, вы что, ребята!?

— Ты — мне, я тебе, Олег!

— Так я же от чистого сердца, Курбан Курбанович! Я видел, как ты мучился.

— И я от сэrsa!

— Ну вас, ребятки!

Второй туркмен в стеганом халате стоял с прижатой к груди ладонью и молчал с выражением холодного отчуждения. Тут весь зал всколыхнулся потому, что багаж сердитая дама в аэрофлотовской форме взвешивать отказалась, ссылаясь на то, что билет уже зарегистрирован. Молодой полковник от имени общественности громко заявил, что поступок аэрофлотовской женщины — чистой воды самоуправство и что, если потребует, он сейчас же пойдет дальше, вплоть до министра. Тут объявили посадку на сибирский рейс (вылет, как всегда, задержался), и Зорин было отступился от затеи привезти злосчастные мешки домой, но упомянутый уже полковник заставил власти отступить. Нелегкая ноша была подхвачена присутствующими и доставлена к самолету вполне законно.

ГЛАВА 8

Аким Бублик заметил, что теперь лужи не замерзают и ночью, что теперь весна настоящая. Утро было серое, тучи бежали чередой, точно стадо овец. Невзрачное утро, однако, не портило настроения, потому как озороватый ветерок нес запахи дальних странствий в теплых краях и в синих морях. Воробьи на деревьях собирались компаниями, были оживлены и крикливы. По улицам понуро бродили мокрые собаки.

Аким Бублик насвистывал песню Аллы Пугачевой «То ли еще будет» и выбирал дорогу посуху, чтобы не запачкать чешских ботинок на высоком каблуке и стоимостью в шестьдесят целковых. Аким был в немецкой синтетической курточке, пронзительно голубой, коричневом берете и нес в руке плоский чемоданчик. Чемоданчик был пустой, но модный. Бублик думал о том, что обстоятельства скла-

дываются как нельзя удачно: заместитель председателя Зорин почти что капитулировал и арабская стенка почти что в квартире стоит. У жены Шурки талант на эти дела, богом данный. Наталье Кирилловне Быковой Шурочка подсунула французский трикотаж, старухе Зориной спроворила дефицитное лекарство то ли от почечной, то ли от печеночной болезни. Ну, и конечно, городские новости изложила в интригующей манере. Это она умеет. Со своей стороны Аким тоже поддал парку, уломал егеря Мясоедова брякнуть в Москву. И егерь, по слухам, слово сдержал — парень он, видать, самостоятельный, несмотря на бороду и варначий облик. Определенно Мясоедову что-нибудь понадобится в ближайшее время по строительной части, не иначе.

В этот час навстречу попадался все больше чиновный люд, поспешающий в свои конторы, тресты и заводоуправления. До начала работы или заседательских мук оставались считанные минуты. Аким Никифорович Бублик тоже озаботился лицом и тоже заспешил.

На подоконнике в коридоре уже сидел Боря Силкин, светлая трестовская головушка, и болтал ногами. Боря был в джинсовом костюме местного пошива и нечищенных ботинках. Он не поздоровался и сказал:

— А у нас высокая комиссия.

— Что еще за комиссия? — равнодушно осведомился Бублик, прилаживаясь открывать свою дверь. Ключи на его связке тонко позванивали. — Мне все эти комиссии — до Фени.

— Вам — конечно, вам все до Фени.

— Ты правильно это усек, Боренька, мы люди маленькие, и спрос с нас, значит, маленький. Кто же во главе комиссии, если не секрет?

— Иванов Василий Данилович из главка. Я его уважаю.

— И я уважаю, я с ним учился. И позавчера, нет, в субботу, встретил его на улице, записную книжку крокодиловой кожи показывал — в Африке, грит, подарили. Заходи,

Боря, потрепемся, пока начальство в мыле, сегодня не до нас начальству.

— Сегодня не до нас,— сказал Боря, садясь на стул возле сейфа.— Но в случае чего меня знают, где искать. Я ведь вас ждал.

— Зачем это?

— Вы же мне книжку обещали?

— Да, обещал, но на данный момент ее читает один человек, так что придется погодить.

— Погожу, чего уж. Вы во мне интерес заронили, честное слово!

— К чему я интерес заронил?

— Насчет рыжих.

— А, это точно — рыжих больше было. Голову даю на отсечение.

— Голова, даже ваша, Аким Никифорович, пригодится.

— Это — верно.

— Хотя бы щи хлебать: в вашей голове, как и во всякой другой, рот имеется.

Сперва Бублик не понял, к чему Боря брякнул насчет щей и головы, потом до него намек дошел, и он, осерчав, сказал:

— Я, чтобы ты знал, таких шуток не уважаю!

— А кто их уважает, покажите мне пальцем? — Боря слегка подергал себя за волосы и вздохнул с печалью.— Насчет альбиносов я в литературе кое-что нашел, а про рыжих нет пока ничего.

— Что еще за альбинос?

Глаза Бори весело заискрились, и он отчеканил:

— Альбинос — от латинского слова «альбус», что значит — белый. Появление белых особей объясняется тем, что в организме не хватает красящего вещества — пигмента.

— Я что-то таких сроду не видывал — белых? У нас в школе таких не попадалось...

— Среди людей альбиносы тоже встречаются, но весьма редко, Аким Никифорович. Так, значит, книгу не дадите?

— А что я буду с тебя иметь?

— Обязательно иметь?

— Обязательно!

— Чем-нибудь и я могу быть полезным, Аким Никифорович, не так ли?

— Например?

Боря опять подергал себя за волосы у виска и наморщил лоб.

— Не представляю, право...

— К мебели, например, имеешь какое-нибудь отношение?

— В каком смысле?

— Ну, можешь достать что-нибудь, если я попрошу?

— Вряд ли.

— Видишь, Боря, как оно получается: для треста ты человек вполне даже полезный, а в остальном... Извини.

— Ну, хорошо. Какая же мебель вам нужна?

— Что с тобой понапрасну ляды точить, дуй, Боренька, откуда пришел.

— Я серьезно. Есть один канал, только сейчас вспомнил.

— Взаправду?

— Вполне.

— Между нами строго, понял. В горторг поступили арабские стенки, всего три штуки, понимаешь, я тут кое на кого вышел, дело почти что обрешенное, но подстраховаться не мешало бы.

— Подстраховаться никогда не мешает.

— Достать мне надо эту стенку. И никакую другую!

— Есть у меня один знакомый, между прочим, личность, собственно. Прелюбопытнейшая, между прочим, личность, он торговлю городскую вот здесь держит.— Боря протянул ладонь к самому лицу Бублика и сжал ее в кулак.— Вы не слышали о нем?

- Кто такой?
- Дядя Гриша Лютиков!
- Не знаю...
- Да вы что, это же — глыба! У дяди Гриши нога сорок седьмого размера!
- Ничего себе!
- Не дамская, конечно, ножка.
- Кто он такой, этот твой Лютиков? Адрес его есть у тебя?
- Я же говорю — сосед. Хотите записать?
- Запишу. На всякий случай.
- Пожалуйста.

Боря Силкин говорил правду, когда имел в виду дядю Гришу Лютикова.

Почему упомянутый дядя Гриша имел чуть ли не решающее влияние на городские торгующие организации? Решающее влияние, это, может быть, чересчур сильно сказано, но определенная моральная сила от этого человека, надо признать, исходила, и его мягкие просьбы, обращенные к любому директору магазина, исполнялись словно по мановению волшебной палочки. Но почему, собственно? Чтобы ответить на этот вопрос, надобно хоть слегка пошлестеть страницами биографии дяди Гриши-пенсионера, работающего, однако, исключительно ради своего удовольствия заместителем главного бухгалтера одного небольшого промышленного предприятия, производящего мешкотару, ящики и этикетки для безалкогольных напитков.

Родился Гриша Лютиков в той самой деревне Пихтачи, где охотоведом и егерем, если вы помните, служит Василий Мясоедов, холостяк, потеющий над кандидатской диссертацией.

Дядя Гриша раз в году обязательно приезжает на свою родину, ходит по деревне и смотрит, как стираются и без

того слабые следы прошлого, как пропадает за чертой небытия память о молодости. В деревне уже не попадалось даже старух, которые бы знали Гришу Лютикова, славного в свое время недюжинной физической силой и характером девичьей кротости. Гриша Лютиков покинул деревню семнадцати лет от роду, начитавшись книжек о великих путешественниках. Крестьянский труд его не привлекал, манили его вдаль алые паруса бригов, скользящих по морским гладям навстречу зыбкой удаче. Пирата из Гришки Лютикова не получилось, и он нанялся в цирк города Новосибирска, где сперва подносил всякие тяжести, кормил диких зверей морковкой и конским мясом, потом выступал в паре с клоуном исключительно в качестве подставки: клоун взбирался на парня как на лестницу, цепляясь за уши, дрыгал ногами в висячем положении и орал какие-то слова, призванные по замыслу смешить зрителя до колик. Уши у Лютикова были всегда покорябаны и отвисли в итоге, как у слона. Безропотного новичка пожалел старый борец и включил в свою группу, полагая по справедливости, что природные данные позволят парню в самый короткий срок стать чемпионом. Гриша по первости участвовал в парадах-алле, где требовалось сделать два шага вперед из шеренги борцов, выстраивающихся перед честной публикой, поднять над головой сомкнутые руки с важностью и печалью римского гладиатора, выходящего на смертный бой. Триумфально, значит, поднять руки и вернуться в строй, играя мускулами. Это более или менее получалось. Правда, мускул особых накачено не было, тем не менее на тренировках Гриша клал на лопатки всех без исключения, наверно, потому, что борцы были поношенные жизнью, все в годах и вообще этот вид цирковой программы — греко-римская борьба — к тому времени явно отмирал. Борцам платили мало и нерегулярно, и они имели побочный промысел: один продавал дрессированных болонок, другой тачал сапоги, третий чинил радиоприемники. Глубокой осенью, перед закрытием сезона, намечены были

заключительные схватки на звание абсолютного чемпиона. Была к тому дню напечатана афиша, где было сказано (после каждого слова на той афише стоял красный восклицательный знак, похожий на бутылку): только что прибывший в город борец — надежда нации — Георгий Жемчужников по прозвищу Сибирский Медведь — вызывает всех, в том числе и желающих из публики, помериться силами. Георгий Жемчужников, Сибирский Медведь, обещает всех положить на лопатки и завоевать почетный кубок. Гриша Лютиков не узнал себя на афише, потому что голова его была приклеена к чьему-то весьма страховидному телу с руками чуть ли не до колена и бугристыми плечами. Накануне схватки Гриша Лютиков убежал из цирка — ему до слез стало жалко пожилых и обремененных семьями хороших людей, которых он по сценарию должен был непременно победить — для сенсации и повышения сборов. Гриша прихватил с собой афишу, а наставнику оставил записку, в ней попросил прощения за то, что подвел всех, особо подчеркнув, что искать его не нужно и бесполезно. Спустя сутки юный борец был далеко от Новосибирска: он нанялся матросом на пароход и плыл вниз по реке Оби, любясь неохватными далями.

Потом была война.

С войны Григорий Лютиков вернулся при трех медалях «За отвагу», двух орденах «Славы» на груди и со следами многих ран на теле. Воевал он в разведке, воевал удачливо и яро. Был он тогда феноменально силен, и как нельзя кстати пришлось ему цирковая борцовская выучка. Старый тренер, начавший свою карьеру чуть ли еще не в одно время с неувядаемым Иваном Поддубным, корил Гришу Лютикова в основном за то, что не было у парня совсем спортивной злости и честолюбия, присущих настоящему артисту. На фронте злости хватало с избытком. На фронте публики не было и за славой особо не гнались: быть бы живу.

Итак, война осталась позади.

Григорий Лютиков, braveй отставной старшина, получил комнатку в доме со всеми удобствами, устроился без долгих раздумий грузчиком на базу плодоовощторга и поступил в десятый класс школы рабочей молодежи, задавшись твердой целью без отрыва от производства получить высшее образование. И он его получил. Работал младшим экономистом, потом старшим, потом и главным на большом машиностроительном заводе города Энска, ну а по выходе на пенсию нашел место потише, потому как организм, даже богатырский, тоже не вечный. К тому же давали знать о себе боевые раны.

Для выяснения существа дела, для того, чтобы знать, почему дядя Гриша стал героем этой повести, надо нам вернуться назад, к той незабвенной поре, когда braveй старшина Лютиков посещал школу рабочей молодежи и влюбился в учительницу химии Анну Ивановну — женщину незлобливого нрава и детской простоты. Между учеником и наставницей возникли потихоньку теплые отношения. Как раз в ту пору старшина сшил у знакомого портного шевиотовый костюм с жилетом, купил галстук «павлиний хвост», яркий, и возымел мечту приобрести велюровую шляпу — для шика и аристократичности. Шляпы такие иной раз и выбрасывали, но, во-первых, раскупали их мгновенно и в большинстве своем по блату, во-вторых, на Гришину голову ни одна не налазила. Тогда старшина, отчаявшись, накатал письмо самому министру легкой промышленности и не стеснял себя в выражениях, а общую обстановку в торговле и промышленности бытовых предметов нарицал мрачными красками. Письмо это примерно через месяц вернулось назад, причем грамматические ошибки были ехидно поправлены красным карандашом. В конверте был еще лощеный листок — фирменный бланк министра, — и на нем машинописным текстом было изложено следующее: «Уважаемый Григорий Лукьянович! Ваши претензии рассмотрены на коллегии, меры принимаются. Спасибо за критические замечания в наш адрес». Внизу стояла зако-

выростая подпись. Разъяренный Лютиков собрался ответить срочно в том духе, что ему шляпа нужна, а не всякие там бюрократические выкрутасы всяких там чиновников, которые, небось, имеют доступ к любому дефициту и которым нужды трудящихся совсем до лампочки. Старшина уже взялся за перо, но тут на дом принесли посылку — картонную коробку, перевязанную алой ленточкой с бантиком. Почтальонша велела в получении расписаться и с почтительным поклоном удалилась. В коробке покоилась, переложенная бумагой, великолепная шляпа цвета увядающей травы и с едва уловимым синеватым отливом. Отличная, можно сказать, вещь, какие носят разве что дипломаты и кинозвезды. Ну, и, конечно же, министры. Гриша позвал соседа по площадке, тот прямым ходом кинулся в магазин за поллитровкой, заявив, что такие события выпадают на среднестатистического гражданина раз в жизни и не обмыть это чудо — значит, ни много ни мало, оскорбить судьбу. Сосед, совсем еще мальчишка, Сима Чемоданов (запомните эту фамилию, она еще появится на страницах повести) учился в торговом техникуме, глубоко уважал Лютикова и был досконально в курсе последних забот старшины.

Городская газета отозвалась на нерядовое событие заметкой, набранной петитом и под заголовком «Сюрприз в коробке», Гришу без малого полгода поздравляли знакомые и незнакомые; любовь несказанная, учительница химии Анна Ивановна, почему-то стала отдаляться, полная сдержанной иронии: ей шляпа не понравилась. Поползли вдруг слухи, что при таких козырных связях (с министрами на «ты!») Лютикова вскорости заберут в столицу для исполнения неких таинственных обязанностей или по линии разведки; или же по линии торговой инспекции. Страсти помалости улеглись, тема иссякла, но тут авиапочтой свалилась вторая картонная коробка, в которой были упакованы лаковые штиблеты сорок седьмого размера, пошитые грузинской артелью под названием «Черное море». Штиб-

леты пришлось по ноге и не было им сносу, потому что надевались они лишь по большим праздникам. Они и по сию пору целехоньки, если не считать трещин на сгибах, где слегка посыпался лак.

Подчеркнем сразу: Григорий Лютиков не был готов к роли городской знаменитости и общественного деятеля, но судьба, знаете ли, играет человеком. Молва сделала свое дело, и в один прекрасный вечер к старшине Лютикову, холостяку еще и студенту-заочнику первого курса, нагрянула делегация женщин, ведомая настырной старухой Микитиной, известной в околотке правдоискательницей. Женщины без обиняков заявили, что Гриша сейчас же должен одеться поприличнее и пойти в промтоварный магазин за номером семьдесят три («это напротив») и кое-кому в том магазине дать по мозгам, опираясь на свой непререкаемый авторитет. В упомянутом магазине, объяснила старуха Микитина, дают тюль и при попустительстве торгашей разные темные личности дефицит хватают чуть ли не тюками и выносят те тюки через заднюю дверь без застенчивости и не таясь. Григорий заикнулся было, что он, собственно, не имеет никакого официального статуса и может получить взашей, но делегация зароптала, а одна смешливая молодлица достала из шкафа, осмелев, парадный шевиотовый костюм, нашла галстук «павлиний хвост», министерскую велюровую шляпу и велела одеваться.

— Мы отвернемся за минутку,— сказала молодлица прижимая к губам кулачок.

Старшина, сопя, оделся и возглавил триумфальное шествие через улицу. Он слышал, как сзади ликующие говорили: «Григорий им начистит жабры, не на того напали!» Невинная эта надежда, как ни странно, придала старшине уверенность в правоте своих действий. К тому же среди женщин было немало вдов, чьи мужья легли на фронтах. Григорий в ту минуту подумал именно о вдовах, сердце его окатилось горячей волной, на скулах вспухли желваки.

В конторке магазина было тесно, там какие-то тихие личности, плоские и бестелесные, шелестели белым тюлем, мерили, считали деньги и складывали их кучкой на столике в углу. Командовала этой беззвучной мультипликацией солидных размеров женщина с ярким ртом и золотыми серьгами в ушах. Серьги напоминали монтажные гайки, и первое время Лютиков забыл, зачем сюда ворвался: он ждал, когда серьги порвут мочки и со стуком покатятся прочь. Но ничего такого не случилось, из-за спины женщины, стоявшей посреди комнаты, возник мордатый мужик в черном халате и спросил, парализованно дергая щекой:

— Чего надо?

— Мне б директора?...— Старшина не имел еще понятия, как следует вести себя в подобных ситуациях, он старался на всякий случай быть взаимно вежливым, но и непреклонным, однако этот стиль сразу нарушил мужчина в черном халате, как позже выяснилось, заместитель директора, он начал теснить старшину к двери, дыхнув водочным перегаром.

— Прочь отседа! — Черный халат вобрал носом воздух с шумом, закрыв глаза, и наступил Григорию на ногу.

— Вы бы повежливее, приятель,эй!..

— Счас милицию позову.

— Зовите. Милиция будет кстати.

— Ты хто такой?

— Гражданин. Простой гражданин.

— Ну, и катись колбасой отседа, пока, значит, трамваи ходят!

— Вы проспитесь, уважаемый, мы тут без вас, пожалуй, разберемся.

Черный халат напирал, будто трактор. Закусывал он, видать, луком, накоротке, дух катился от него неприятный, и Григорий отступил, делегация, жаждущая справедливости, возропнула в том духе, что нечего тут с ним чикаться и что фронтовик Лютиков вроде бы не оправдывает надежд и вроде бы сробел перед наглостью. Пьяный за-

меститель вдруг замахнулся, намереваясь ударить старшину по скуле, и заскрежетал зубами. Перед глазами Лютикова замельтешили зеленые искры, кровь глухо покатилась в голову. При разбирательстве происшествия очевидцы засвидетельствовали следующее: супротивник старшины взлетел к потолку, точно надутый, и всей плоскостью спины рухнул на столик в углу. Ножки столика со всхлипом подкосились, и по конторке ртутью разбежалась денежная мелочь — серебро и медь.

Это случилось летом одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего года на улице Центральной в промтоварном магазине за номером семьдесят три.

ГЛАВА 9

Аким Никифорович Бублик поболтал еще маленько с Борей Силкиным и дал понять, что в общем-то пора бы браться и за дела.

— Государство зря деньги не платит, правда ведь, Боря? — сказал Бублик, садясь за свой стол и закуривая сигарету.— И нам надо включаться в трудовой ритм, а?

— Пора, согласен. Но не согласен с вашим положением, будто государство не зря деньги платит. Многим оно и зря платит. К сожалению, конечно. Вот, скажем, вам, Аким Никифорович, убавь зарплату, вы же всем глотку перегрызете, вы обязательно кричать станете: «Это же несправедливо!»

— А ты не закричишь?

— Не закричу, у меня совесть есть.

— А у меня ее, значит, совсем нет?

— По-моему, так нет. Вы не сердитесь, ради бога, а слушайте, что я хочу сказать.

— И что ты хочешь сказать?

— Я чисто теоретически. Вот вы... это инженер, наверно, неважный, однако человек — деловой и при желании на своем, так сказать, поприще — по части снабжения —

делали бы чудеса. У вас хватка, знание людей определенного круга и так далее. Но подавляющая часть вашей энергии попадает не в то русло, вы в основном на себя работаете. Не так ли?

— Может и так, но за инициативу, Боренька, у нас не платят, и к чему мне потеть лишнее? Прикажут — сделаю, не прикажут — еще лучше: делать не надо. Усек?

— Усек. Оно ведь как на вещи смотреть... Вы обязаны инициативу проявлять. И за инициативу, в том числе вам, деньги-то платят, это само собой разумеется.

— Мне платят за исполнение служебных обязанностей, а думают за меня другие, у кого головы посветлей и оклады повыше.

— А где же совесть? Значит, у вас совести нет?

— Катись-ко ты, парень, куда подальше! И книжки моей тебе не видать теперь, накось выкуси,— Бублик показал Силкину кукиш, совсем как в детстве, когда у него просил отнaczyć половинку бутерброда с колбасой и маслом сын дворничихи Петька Маклаков, мокрогубый дохляк. Мать его пила запоем, и в доме было небогато жратвы.— Не получишь ты книжку!

— Хрен с ней,— ответил Боря совсем равнодушно и даже зевнул, прикрывая рот ладошкой.— Скучно с вами, Аким Никифорович.

— Зачем тогда ходишь сюда?

— Из любопытства.

— Какое еще любопытство? Зоопарк тебе здесь, что ли?

— Нечто вроде зоопарка.

— Дурак!

— Всего хорошего, Аким Никифорович,— Боря хохотнул и, качая головой с упреком, покинул кабинет, плотно прикрыл за собой дверь. Бублик осерчал не на шутку, поворошил, чтобы успокоиться, бумаги на столе, потом стал смотреть в окно. Трестовский двор был еще темен и пуст. Вдоль мостовой важно прогуливались голуби. Асфальт

просыхал, высветливался, местами слегка задымленный парком. Ничего интересного в трестовском дворе не наблюдалось, и Аким Никифорович подался по кабинетам развеяться с видом деловой отрешенности. В кабинетах обсуждался в подробностях приезд чрезвычайной комиссией, по коридорам рысью бегали чиновники с канцелярскими папками наперевес, сновали красногубые секретарши. Повсюду стоял тревожный гул, хотя при ближайшем рассмотрении тревожиться было особенно не о чем: план квартала был выполнен, капитальные вложения освоены и так далее. К начальнику снабжения Бублик не заглянул намеренно: чего доброго, начальник, подвернись ему под горячую руку, мигом спроворит командировку в Омск за битумом и смазочными материалами, а в данный момент покидать город никак нельзя — ведь еще не куплена и не привезена домой арабская стенка. Мимо двери своего непосредственного шефа Бублик проскользнул чуть ли не на цыпочках, и у него даже слегка вспотела спина. В следующие минуты Аким Никифорович вдруг развил буйную деятельность, потому что его осенила одна важная мысль. Он без жалости бил себя ладошкой по лбу, восклицая со стоном: «И как это я раньше не додумался, 'дундук темный!» Только что ему в голову пришло соображение такого порядка: а почему бы не порадовать рыжего заместителя Зорина? Почему не пойти к нему тотчас же, вручить книжку «Женская сексопатология», которой так домогался Боря Силкин, и заодно прямо спросить, кому платить за арабскую стенку и откуда ее везти? Совсем ведь просто! Аким Никифорович представил свою квартиру с новой мебелью, пахнувшую грецким орехом, и сердце его томно покатилося вниз. Правда, жена Шурочка велела ждать развития событий и не высовываться, но как это говорят: «Жену слушай, но делай все наоборот». И правильно говорят!

Аким Никифорович взял свой чемоданчик «дипломат», открыл сейф и достал книжку, коротко поразмыслив, ски-

дал в чемоданчик несколько скоросшивателей — для солидности и пущей важности, для того, чтобы Зорин усвоил, что имеет дело с человеком исключительной деловитости. Однако не ведал наш герой, пускаясь на штурм твердыни, какое впереди его подкарауливает разочарование. Ему бы свернуть в кафе «Колосок», куда с утра забросили свежее пиво (соблазн такой был), но он попер прямым ходом в горисполком. Ему бы погодить денек-другой, пока заместитель председателя избавится от мучительных переживаний, связанных с московской командировкой, а он жены своей Шурочки не послушался и песню испортил, недо-тепа!

Олег Владимирович Зорин вернулся из Москвы, как отметила его секретарша, еще больше вроде бы порывевшим, хотя рыжеть дальше было и некуда. Троллейбус заместитель выбил, но поздравления принимал с вялостью, было видно, что его точат какие-то заботы высшего порядка. Пробился даже слушок, будто Зорина собираются переместить по должности немного вниз, как не оправдав-шего доверия, или поднять немного вверх с прицелом на головокругительную карьеру. Однако при ближайшем рассмотрении никакого таинства и никакой интриги тут не присутствовало: просто Зорин, человек легко ранимый, занимался в эти дни самоанализом, он вспоминал, краснея, как орал в аэропорту, как хвастал своим положением и сулился ради дружка сердечного горы свернуть, вспоминал, что друг его сердечный Курбан в спешке забыл надеть штаны и шлындаль на виду многотысячного люда в мягкой пижаме, демонстрируя ноги ужасной волосатости, потом безжалостно и в подробностях возникала картина, как он, семеня, с помощью двух сострадательных женщин и тонконо-го старичка профессорского обличья волок к трапу страховидные мешки с урюком, яблоками и еще чем-то там (мешки, кстати, до сих пор стоят в прихожей нераспакованные, и жена Катерина брезгливо их обходит), как стюардесса не пускала груз в самолет... «А люди-то виде-

ли! — думал Зорин.— Люди-то наши, городские все!» Жена Катерина держалась отчужденно, молчала вот уже два дня кряду и не принимала извинений, не слушала оправдательных слов. Два раза звонил уже директор металлургического завода, напоминал официальным тоном, что уголок в Туркмению отправлен и счет еще не оплачен.

— Операция незаконная, учти. Чуть чего, к ответственности нас вместе потянут.

— Пусть тянут!

На работу заместитель председателя ходил пешком, и ему казалось, что встречные смотрят в лицо ему подозрительно пристально, оборачиваются даже: тот самый летел с мешками на самолете от Москвы или не тот самый? Тот самый лобзался в аэропорту с восточным человеком или не тот самый?

Олег Владимирович Зорин пил у себя в кабинете кофе из маленькой чашечки перед тем, как начать рабочий день, и напряженно размышлял, почему и как залихачил в Москве. Ведь не было еще случая, чтобы он так вдруг распустился. В жизни не было. Разве вот по молодости грешилось, так на то молодость и дается, она многое списывает и прощает.

Были выпиты две чашки кофе, но ответ на весьма важный вопрос, заданный самому себе, как-то не вырисовывался до той минуты, пока в кабинет не ворвался круглолицый блондин с плоским чемоданчиком в руке. На блондине чуть ли не висела секретарша. Она повторяла с капризным выражением на лице: «Нельзя сюда! Я же вам говорю — нельзя!»

— Мне можно! — отвечал блондин и, благодушно улыбаясь, сбрасывал со своего плеча секретаршу Галю, точно мешок.— Ведь можно мне, Олег Владимирович?

Зорин смолчал, хмурясь.

Секретарша, повинувшись кивку, отступила к двери и исчезла в приемной, блондин же округлил губы, поправил галстук, глядя на заместителя, будто в зеркало, и на ходу щелкнул замком чемодана, открыл его, распахнул на уголке стола, словно коробейник перед лукавой бабенкой на заднем дворе. Зорин шумно задышал, осеняясь по малости догадкой, что с этим вот суетливым блондином и связаны его московские неприятности. Зорин вспомнил, что еще до командировки блондин так же развязно ворвался к нему и с той же дурацкой улыбкой просил от имени Быкова вырешить ему арабскую стенку и звонки в московскую гостиницу тоже, выходит, организовал он, бездельник и прихиндей. А звонки-то как раз и вывели Зорина из равновесия. Все ясно.

— Вы где работать изволите? — елейным тоном осведомился заместитель.

Бублик возился с чемоданом и никак не мог отыскать тонкую книжцу, затерявшуюся в бумагах, и беззаботно ответил:

— Я на снабжении. Вы разве меня не узнали, мы же коньяк вместе пили у Быковых? Я вам тут подарочек принес, книжку редкую принес. И весьма любопытную.

Щеки Зорина занялись багрянцем, он шибко задышал и придавил окуроч в большой хрустальной пепельнице.

— Вас не ждут на работе, приятель?

— Работа, Олег Владимирович, не медведь, в лес не убежит. Вот, нашел! — Незванный гость протянул хозяину подарок. Протянул благодушно и без почтения, по-прежнему не замечая, что в Зорине, словно в котле, накапливается мощь, готовая взорвать не только просторный кабинет, но и окрестности.

— За что мне такой дорогой подарок?

— Спасибо, Олег Владимирович, вы ж мне крепко подействовали. Без вас мне стенки не видать, как своих ушей.

Зорин слегка подергал себя за чуб, чтобы успокоиться, но ярость подмывала тотчас же совершить не по рангу глупый поступок. Зорин на всякий случай решил не выходить из-за стола и не махать руками.

— Я и говорю, Олег Владимирович, без вас бы не видеть мне стенки, как своих ушей.

Заместитель опять ничего не ответил, косясь на книжку, лежавшую перед ним.

Бублика молчание это нисколько не смутило, он продолжал, странно приплясывая:

— В наше время главное — помогать друг другу, иначе никакого дефицита не достать. Я ведь тоже когда вам и пригожусь. Должность моя, конечно, маленькая, но и я при случае кое-что могу, не без того.

Зорин вспомнил вдруг, что этот самый малый, который плясал перед ним с таким видом, будто его приперла нужда срочно сбегать до ветра, год назад в деревне Пихтачи свалился с откоса, имея в одном интересном месте березовый веник. Стоило только представить эту картину, как сразу стало маленько легче на душе.

— Вот что, уважаемый, — разделяя слова, сказал заместитель. — Шел бы ты отсюда скорым шагом и больше сюда не возвращался.

— Как это? — Бублик слегка наклонился и приставил к уху ладошку. — Я не понял вас, Олег Владимирович.

Заместитель ослабил галстук и покрутил головой:

— Марш отсюда!

— Что?

— Марш отсюда, бездельник! — Олег Владимирович начал подниматься с кресла и почувствовал, что встать в полный рост не сможет: ноги были мягки и непрочны, руки дрожали. Пришлось сесть.

— Я что-то, наверно, не понял? — глаза Акима Бублика потеряли незабудочную яркость и стали пусты, как окошки нежилого дома.

Голос хозяина кабинета загремел, крепчая, как весенний гром:

— Вон отсюда, вон, дармоед! — Рука Зорина резко выпрямилась, указывая путь назад. В проеме полуоткрытой двери показалась на мгновение голова секретарши в голубом парике и тут же скрылась. Лицо секретарши было белее мела.

Бублик, наконец, все понял, качнулся и, спотыкаясь о ковер, ринулся на выход, следом, плеская страницами, полетела его книжка. Зорин искренне сожалел в тот миг, что не может подняться и дать непрошеному гостю под зад, чтобы непрошенный гость получил соответствующее ускорение и следовал бы с тем ускорением далеко, вплоть до места назначения. Зорин даже застонал от досады и бессилия. Тут надо было действовать споро, со сноровкой и ловкостью чемпиона, но откуда сноровка и ловкость у пожилого человека с потрепанными нервами. «Не те годы, не те!» — подумал заместитель и скорбно почесал затылок. В полуоткрытую дверь снова просунулось с выражением вопросительным и тревожным лицо секретарши.

— Догони, Галочка, отдай ему книжку — забыл товарищ.

Галочка прыснула в кулачок, затем послышалось, как весело и часто застучали каблучки через приемную и дальше по коридору. Зорин же вдруг засмеялся, испытывая великое облегчение. Так бывает, когда во сне видишь, будто тебя жуют крокодилы, но когда вскакиваешь с постели, прикусив во рту сухой язык, охватываешь глазами знакомую улицу, дворника дядю Мишу с метлой на тротуаре, спышишь, как галдят воробьи, тебя благостной волной окатывает чувство, что жить хорошо, никакие крокодилы тебя не сжуют, что пора бриться, завтракать, бежать на работу, и впереди обыкновенный день, подаренный щедрой судьбой, и жить на земле — прекрасное в общем занятие.

Смеялся Зорин долго, раскованно, потом взялся за телефон.

Аким Бублик вывалился из горисполкома и подался прочь в паническом настроении. «Что я наделал! Что я наделал!» Сердился он на себя справедливо, сознавая, что допустил грубую тактическую ошибку, которую жена Шурочка не простит никогда. Бублик не понял и не поймет до конца, в чем состояла его ошибка, он был убежден с самого начала, с той минуты, когда был выдворен из кабинета на втором этаже, что Зорина оскорбил подарок в виде тоненькой книжки в дешевом переплете. «Конечно, он большой начальник,— думал Аким Никифорович, испытывая внезапно подступившую боль в животе. Было такое ощущение, будто в желудок попала, например, сосновая шишка или средних размеров камень.— Конечно, ему носят не книжки, он, наверно, берет в конвертах, натурой, а я ему как мальчишке пионеру брошюрку всучил, он и взвился, чучело рыжее, пугало огородное, штиблет заношенный!» Аким остановился возле мокрой и черной клумбы, плюнул. Хотел плевком попасть в сизого голубя, переступающего по асфальту с важностью полномочного посла, но не попал, и стоял некоторое время, пережидая, когда отпустит пронзительная боль. У него всегда вот так схватывало желудок после испуга и потрясений, однако, пересиливая ноющую боль, одолевала забота: «Что же дальше? Неужели — конец?» Без арабской стенки, это Бублик представлял твердо, наступит хана: во-первых, Шурочка натурально вытеснит из дома, во-вторых, поколеблется авторитет Бублика как человека богатого, удачливого и преуспевающего. Именно эта репутация позволяла нашему герою держаться на струе, пользоваться снисходительностью начальства, рожденной когда-то от безусловной уверенности, что Бублика не стоит трогать, что этого румяного ловкача подталкивает из таинственной глубины чья-то волосатая рука.

Бублик стоял возле клумбы, вытирал платком вспотевший загривок и думал с непривычным напряжением, как быть дальше, какую найти лазейку, чтобы обогнуть

на повороте рыжего заместителя. Вспоминались слова Бори Силкина насчет пенсионера, который, сидя дома, крутит как хочет городской торговлей. Аким Никифорович стукнул опять себя по лбу с азартом, будто придавил комара, пившего кровь, и, размахивая чемоданчиком, рысью припустил в сторону треста.

Боря Силкин заведовал конструкторским бюро при техотделе и работал на третьем этаже трестовского здания, в длинном зале с большими окнами. Для Бори был отделен небольшой закуток за стеклянной перегородкой, где стоял школьный столик, заваленный бумагами, чертежный кульман, на подоконнике стоял телефон. Боря сидел рядом с телефоном и, побалтывая ногами, листал тяжелый альбом, страницы которого топырились веером, и фолиант в самодельном переплете скатывался с Бориных колен.

Прежде чем добраться до закутка в торце зала, Бублик преодолел немалое испытание — чуть ли не версту пробирался по тесному коридорчику между чертежными досками. В конструкторском бюро было полно женщин, в основном молодых, эмансипированных, и они встретили посетителя, знакомого отдаленно, с высокомерным пренебрежением, они загоразивали Акиму Никифоровичу дорогу, смеялись в спину ему невесть почему, одна даже сказала с прононсом, медленно:

— Тоарыщ, не отдадите ли мне свой чюмоданчик у мэня сегодня свидание. Он ведь вам не нужен, чюмоданчик, по глазам вашим вижу?

Бублик не ответил ничего, но на всякий случай пригнулся и вжал голову в плечи, опасаясь любой вольности. Эти модно одетые дамы могли бы подставить ножку или дать взашей исключительно ради того лишь, чтобы скрасить минуту.

У Бори в кабинетике было сравнительно тихо и почти не пахло парфюмерией.

— Я на минутку к тебе,— сказал Бублик.

Силкин обеими руками донес альбом до стола и положил его поверх горбатого вороха разных документов, потом потянулся с томностью и зевнул:

— Не выспался сегодня...

— Оно понятно в общем-то — дело молодое, холостяцкое...

— Работа срочная была, запустил тут кое-что, неорганизованный я.

— А ты организуйся.

— Пробовал. Пока не получается, знаете ли,— Боря у себя был совсем другой, чем утром возле бубликовского кабинета, Боря был чуть ли не суров, официален.— Чем могу служить?

Бублик вытащил из кармана пиджака помятую книжку — «Женскую сексопатологию» — и подал ее заведующему конструкторским бюро свернутую трубочкой, подал несколько даже стеснительно, опасаясь снова попасть впросак. Хозяин здешней фирмы книжку, однако, взял, но взял он ее с настораживающим пренебрежением и кинул не глядя в ящик старого шкафа возле двери.

— Мне некогда, Аким Никифорович.

«Даже спасибо не сказал, жук навозный!»

Вслух Бублик произнес, закатывая глаза ко лбу с видом светским и рассеянным:

— Ты давеча поминал какого-то пенсионера?...

— Какого еще пенсионера? — Боря запрыгнул на подоконник с альбомом в руках и наморщил лоб, перелистывая толстые ватманские страницы.— Пенсионеров нынче — пруд пруди, все скамейки во дворе обсиживают с утра до вечера, мимо них ходить-то неловко: обсматривают, будто скаковую лошадь.

— Это верно — обсматривают. Ты мне говорил про того, который с торговлей связан?

— Про Лютикова, про дядю Гришу?

— Вроде бы про него. Ага, про дядю Гришу!

— Зачем он вам нужен?

— Вещь одну достать необходимо. Я ж тебе говорил вроде?

— У вас ведь железные связи кругом, Аким Никифорович? Вы ж птичьего молока достать можете, о том всем известно, зачем же вам дядя Гриша?

— Нужен.

— Он вам не поможет, Аким Никифорович, поверьте, он вас погонит.

— Это почему же?

— Он доставать не любит, учтите. Вы же для себя хлопчете?

— Для кого же еще, конечно, для себя, я этого и скрывать не собираюсь!

— Вот. Не собираетесь. А дядя Гриша — святой человек.

— Мне непонятно: с торгашами тесно связан, как утверждаешь, и святой человек. Несоответствие получается, Боренька?

— Он для себя ничего не берет, он справедлив до щепетильности и роль свою несет как крест.

— Совсем непонятно это! Ты, Боря, лапшу мне на уши вешаешь или как?

— Где вам понять, вы по-другому воспитаны.

— Ты мне пример приведи, тогда я, может, и разберусь.

— Пример? — Боря взял в рот остро отточенный карандаш и подергал себя за мочку уха, вильнул телом и ловко скатился с подоконника, ударившись ногами об пол. — Вы помните, несколько лет у нас порядочных лезвий не было? Их, впрочем, и сейчас нет.

— Помню.

— Вы, небось английскими лезвиями брились?

— У меня — электробритва «Москва» за сорок целковых.

— Повезло вам, а у меня щетина — как проволока.

— И что?

— В каком смысле «и что»?

— Причем здесь пенсионер дядя Гриша, святой, понимаешь, человек?

— А, так вот, я брился «Балтикой» и плакал по утрам, будь она проклята, эта «Балтика»! И дядя Гриша спросил однажды (встретились в подъезде), почему это у меня щеки покорябаны, не с котами ли, мол, дрался на чердаке? Пожаловался я: так и так. Он говорит: загляни ко мне вечером. Заглянул. Звонок в магазин, и мне подбросили с заднего хода целых сто штук, блок целый. До сих пор бреюсь.

— Ну и что?

— А сам дядя Гриша тож «Балтикой» пользовался, тоже плакал по утрам. Это я позже узнал.

— Странно.

— И ничего странного нет, если разобраться.

— Ты дашь мне адресок этого святого?

— Вам он не подействует, можете мне поверить, если вы его не убедите, что вещь, о которой хлопчете, крайне необходима. Или докажете, что вас несправедливо обошли. Дядю Гришу некоторые и обманывают, он чересчур добрый, и в том его слабость.— Боря вздохнул, жалеючи соседа, и сел на шаткий стул. Адрес я вам дам, но на меня чуть чего не ссылаться, устраивает вас такое мое условие?

— Вполне. Давай адресок — тороплюсь.

ГЛАВА 10

Есть настоящая необходимость вернуться теперь к дяде Грише Лютикову для полного прояснения его недюжинной роли в торговом мире города. Как уже известно, все началось с велюровой шляпы, присланной Лютикову министром. К тому моменту, когда писались эти строки, было получено уже тридцать шляп. Григорий Лукьянович Лютиков еще с десяток лет назад, будучи

командирован в Москву по делам своего завода, неоднократно заходил в министерство легкой промышленности и христом богом просил тамошних товарищей закрыть велюровый фонтан, его слушали сочувственно, обещали срочно принять меры, но коробки поступали с доставкой на дом неукоснительно к майским праздникам. Жена дяди Гриши Ольга Ивановна из велюра шила сперва жилетки и домашние тапочки, потом фантазия ее иссякла и картонные коробки со шляпами поленницей складывались в подвале. Была семейная задумка разжечь однажды во дворе большой кустер из столичных посылок, но Лютиков намерение это зарубил на корню из тех соображений, что грешно людской труд предавать огню, тем более что кто-то там, в европейской части страны, до сих пор полон участия к просьбе сибиряка, изложенной письменно целых тридцать лет назад. Изобретательные соседи брали шляпы для щенков, котов и птиц. Один молодожен, когда в магазинах не было детских колясок, содержал с неделю или чуть даже больше, в шляпе новорожденного сына, используя ее как кровать и как зыбку. «Очень, знаете ли, удобно! — говаривал тот молодожен. — И мягко, и просторно».

Но оставим эту тему, вернемся к тому моменту, когда brave старшина Лютиков исключительно ради восстановления справедливости, как говорят борцы, взял на бедро заместителя директора магазина, торгующего тюлем. Скандал получил большое общественное звучание, старшине Лютикову выпало держать ответ кое перед кем. Речь на собраниях заходила даже, представьте, о том, чтобы распоясавшегося фронтовика привлечь к уголовной ответственности за хулиганство, но чрезмерная ретивость некоторых весьма ответственных товарищей была отвергнута. Тех, кто по своей охоте или же по долгу судил в те дни Григория Лукьяновича, несколько озадачивало, моментами и сердило то обстоятельство, что привлеченный к персональной ответственности старшина все словесные всплески, всю публицистику и гражданский пафос высту-

павших с видом полной невозмутимости пропускал мимо ушей. От него требовали покаяния (понял, дескать, человек свою ошибку, и воспитательная мера профилактического свойства имела эффект), но после очередного заседания или собрания Лютиков выпрямлялся на стуле, потирая колени, говорил такие слова:

— Я его, подлеца, хотел в тюль завернуть, да женщины не дали. Хотел я его в завернутом виде отволочь в милицию, подлеца, так женщины, понимаешь, не дали.

— Выходит, вы, товарищ Лютиков, считаете свой поступок правильным и совесть ваша молчит?

— Это ваша совесть молчит! Его, подлеца, судить надо. И немедленно.

В президиуме после этого итогового заявления хмуро переглядывались и пожимали плечами, расстраиваясь тем, что время по существу затрачено впустую. Лютикову было навешано много всяких взысканий, но они не помогли поставить упряма на путь, не заставили его исповедаться и признать вину. Эта смелость в итоге, однако, резко подняла авторитет старшины, и его начали вдруг дружно выдвигать на всякие ответственные посты без отрыва от производства. Посты были обязательно связаны с торговлей, поскольку Лютиков как-то естественно стал считаться особо компетентным именно в области торговли. Спустя время к дяде Грише припарили пенсионера дядю Ваню Горшкова по прозвищу И Другие. Горшков всю сознательную жизнь занимался охраной речных бассейнов в качестве старшего инспектора по контролю над окружающей средой. Был он на должности въедлив и неподкупен, уговорить его пойти хотя бы на временный и шаткий компромисс считалось делом безнадежным. К тому же инспектор смолоду и до седых волос не брал в рот ни капли спиртного, но выделялся, надо отметить, одной странноватой особенностью. За эту особенность своей натуры он и получил прозвище дядя Ваня И Другие. Поясняю, в чем дело.

Инспектор любил фотографироваться и лелеял мечту попасть в газету. Критические заметки он регулярно посылал по редакциям, их печатали в сокращенном виде, но дядя Ваня хотел, чтобы на первую полосу попала его фотография. Сперва вынашивалась идея появиться однажды на газетной полосе в полный рост, при форменной фуражке и на фоне таежного берега, потом, когда минули годы, Горшков скостил мечту до портрета в одну колонку и без форменной фуражки даже, но судьба была суровой. Инспекция имела в своем распоряжении катер прогулочного типа, на том катере частенько проветривали особо почетных гостей города — артистов, заезжих писателей и представителей соревнующихся областей. Показывались скалистые берега, показывалась тайга, полная сурового величия. Катер причаливал в погожие дни к островкам с пляжиками, чтобы гости могли искупаться. Инспектор Горшков рассказывал пассажирам о том, что в том месте как раз, где они на данный момент проплывают, будет вскорости рукотворное море объемом в многие миллионы кубометров чистой воды, а на берегах сплошь вырастут дачные поселки, дома отдыха и лодочные станции. Это будет хорошо и даже удивительно.

Гостей сопровождали репортеры, обещанные съемочной техникой, фотографировали раскованную публику в неофициальной, так сказать, обстановке, группами и поодиночке. Фотографии, нечасто, правда, но публиковались, инспектор тоже попадал в кадр, под снимками писалось черным петитом: слева направо — Иванов, Сидоров, Петров и так далее, на Горшкове перечень обрывался, дальше значилось — «и другие». «Всене непременно инспектор попадал под зыбкую графу «и другие». То была дискриминация. Горшков не имел, конечно, никакого права распляться по поводу вопиющей несправедливости — ведь не ради него старались в поте лица репортеры и не он вовсе был знаменитостью, но все-таки душу точила обида, родилась и окрепла в итоге уверенность: здесь что-то

не так. Не мог понять Иван Иванович Горшков простой истины: властям нужен был прогулочный катер, а есть ли на его борту инспектор, нет ли его, над тем никто не ломал голову, и редакторы, когда запускали снимки в производство, тыкали пальцем и спрашивали: «Кто такой?» Ага, инспектор. Он тут явно ни при чем. Далее редактор брал карандаш, вычеркивал постороннего из списка, ставил твердой рукой — «и другие». После этих слов следовало многоточие, оскорблявшее Ивана Ивановича глубоко и особо. Многоточие означало неопределенность. Вот здесь, мол, товарищи, обратите внимание, люди сидят или стоят, дальше же всякая серость в объектив попалась, и мы, ценя ваше время, не хотим, чтобы вы засоряли память всякой побочной информацией.

В квартире Горшкова все стены были завешаны фотографиями в рамках и без рамок. То была настоящая летопись, охватывающая жизнь от бесштанного детства до настоящих дней. Были там портретные снимки в фуражке «с крабом», в тельняшке, в плавках, за штурвалом прогулочного катера под названием «Белый лебедь», за столом президиума возле графина с водой во время отчетно-перевыборного собрания ДОСААФ и так далее. Иван Иванович давно приготовил папку в переплете красного плюша для газетных вырезок с собственными портретами, но, как уже говорилось, портретов не было, а на коллективных фото лицо инспектора выглядывало из-за спин, из второго или даже третьего ряда, и этот факт приносил непроходящее разочарование в жизни. Других слабостей у Горшкова не наблюдалось, а эту слабость — не совсем понятное стремление попасть на первую полосу газеты или на обложку журнала — можно простить, поскольку она касается лишь одного человека и не мешает жить другим.

Дядя Гриша Лютиков со временем стал председателем общественного контроля над торговлей, дядя Ваня Горшков стал его бессменным заместителем. Эти двое взяли на себя промтовары и поставили целью справедливое

распределение дефицита. Они знали досконально, сколько поступило в город, скажем, зубных щеток или прищепок для белья, и организовывали торговлю этими товарами в киосках на заводах, чтобы занятые люди, рабочие в первую очередь, могли прикупить кое-что не отходя далеко от станка или доменной печи. Поскольку нашу торговлю систематически сотрясают большие и малые катаклизмы, а легкая промышленность производит товары широкого потребления с одышкой, хлопот у наших стариков с годами не убавляется и, похоже, не убавится в обозримом будущем. Тюль, с которого дядя Гриша начинал свою карьеру, теперь не в ходу, зато крупным планом на повестке, например, дамские сапожки, отошли в небытие, отдалились, мужские боты «прощай, молодость», зато нарасхват замшевые штилеты иностранного производства, а также легкие свитеры «водолазки». Старики наши жизненные свои вехи привыкли размечать не по календарю, как прочие смертные, а кедами, носками, упомянутыми уже зубными щетками и прищепками для белья, губной помадой, мылом, как туалетным, так и хозяйственным, хрустальными люстрами, кожаными перчатками, женским трикотажем. Этот список можно продолжать бесконечно. У дяди Вани, надо отметить, феноменальная память, он умеет перечень товаров связывать с конкретными датами по годам, месяцам и дням. Он, например, с долей определенности может ответить на вопрос, когда вошли в моду женские следы, когда склады начали затовариваться обувью местной фабрики. Обувь эта (в ней даже хоронить стыдно) была, подобно нашествию крыс, нежелательна и нежданна. Он и во сне мог ответить, сколько квадратных метров мы имеем немецкого линолеума на складах и рулонов мощных обоев. Горпромторг выхлопотал дяде Ване телефон на дом, чтобы получать разнообразнейшую справку, не заглядывая в накладные. Горпромторг взялся даже телефон оплачивать, но дядя Ваня на такую корысть не пошел из принципа.

В разные моменты к дяде Ване и дяде Грише подсоединяли активистов для более широкого контроля и надзора за торговлей, однако, новички, как правило, выбывали из рядов органов контроля, подточенные дьявольским искусом: доступ к дефициту расшатывал и железные характеры. Дядя Гриша тогда в очередной раз спрашивал дядю Ваню:

— Этот зарвался?

— Определенно зарвался, он, видишь ли, бросает густую тень на нашу фирму.

— Теней нам не надо!

Решение было окончательным и обжалованию не подлежало. Вмешательство даже самых высоких инстанций не смущало наших стариков, для них истина была единственным критерием, который стоит брать во внимание. Если дядю Гришу когда и обманывали, спекулируя его беспримерной добротой, то дядю Ваню обмануть нельзя, потому как он желчен и весьма пронизателен по складу натуры. Не стану здесь останавливаться на всем хорошем и нужном, что совершили деда на общественной ниве, простой перечень недюжинных дел занял бы слишком много места, упомяну лишь о магазине «Богатырь», открытом совсем недавно на одной из центральных улиц города. Мечта дяди Гриши сбылась: во-первых, он теперь заимел возможность сдавать в тот магазин шляпы (заметим, безвозмездно!), присылаемые от имени министра, во-вторых, люди нестандартной выкройки могли хоть отчасти найти на прилавке пиджак по плечам или рыбацкие резиновые сапоги сорок шестого размера, если повезет, с одного захода, не затрачивая на поиски месяцы, годы или целую жизнь. Дяде Грише было поручено разрезать ленточку при церемонии открытия и сказать речь. Ленточку он разрезал сноровисто, а вот приготовленная дома речь замялась. Дядя Гриша лишь триумфально, как учили его в цирке, поднял сомкнутые руки над головой и сказал:

— Вперед, граждане богатыри!

Фотография дяди Гриши появилась в газете, из-за его спины выглядывал дядя Ваня. Инспектор рыбоохраны не попал на этот раз даже под зыбкую графу «и другие», но печаль его по этому поводу была мимолетной и не глубокой: жизнь нас учит терпению и стойкости, она учит не брать близко к сердцу удары судьбы.

Аким Бублик явился домой в половине пятого вечера, он не хотел бы встретить жену Шурочку, но встретил. Шурочка была уже в халате, расписанном яркими цветами, и была похожа на огромных размеров игрушку, изготовленную артелью местпрома. Цветы на халате были великолепны и пронзительны. Шурочка пила чай на кухне и ела бутерброды. Настроение у нее было ничего себе. Бублик повалился в кресло с таким видом, будто только что участвовал в кавалерийской атаке косою лавиной и позскадронно. Он боялся, что сию же минуту ушлая Шурочка начнет докапываться до арабской стенки, узнает правду и тогда никому в этом доме и за его стенами не сдобровать, но расплата пока отодвигалась, потому что мысли Шурочки витали в далекой дали. «Сейчас что-нибудь расскажет,— подумал Бублик с облегчением.— Опять историю на хвосте принесла!»

— Селезневу Машку помнишь?

— Не помню я никакой Машки, тем более Селезневой! — в сердцах ответил Аким Никифорович. Спросила бы лучше, ел я сегодня или не ел?

— Садись,— Шурочка тронула пальцем пустую чашку и показала за спину себе, где в углу на электрической плите свистел чайник.— Кто тебе мешает?

— Опять чай!?

— Я тоже на работе была. Чисти вон картошку, быстро пожарю.

— Это я и сам могу — пожарить!

— Ну и жарь.

— Вечно этот чай! — Бублик автоматически вспомнил слова матери о том, что его жена — никакая не хозяйка, она нерадива, вся сама в себе и хочет жить лишь в качестве украшения при богатом и ловком муже. Богатым Акиму стать как-то все не удастся, тем не менее Шурочка держится однажды выбранной линии и сворачивать с той линии не собирается.

— Селезневу Машку помнишь? — вопрос был задан сквозь бутерброд с ветчиной, спрятанный в рот деликатно, но почти целиком, и прозвучал глухо.

Бублик вяло напряг память, но ничего ему не нарисовалось, и он отрицательно покачал головой, отдаваясь своим заботам. Он думал на данный момент о том, где бы срочно сшибить червонец. У Шурки, конечно, есть записка, да у нее снега зимой не допросишься. По истечении пятнадцати лет супружеской жизни, кстати, Аким не мог докопаться, откуда берет его жена деньги — они всегда имелись в ее черной сумочке. И не копейками обладала эта женщина в любое время дня и ночи, и не рублями, бери выше — сотнями; средства эти, добытые путями неисповедимыми, складывались, видать, в кубышку и были решительно исключены из семейного бюджета. По первости Акима лихорадило от мысли, что где-то рядом лежит мертвым грузом бесхозный капитал, он однажды по пьяному делу устроил разоблачительную сцену своей благоверной, но был назван дураком и получил перед сном удар недюжинной силы сахарницей по лицу. Из носа закапала кровь, сахар на кухне растоптался и поскрипывал под ногами, будто пляжный песок. Поутру, глянув на себя в зеркало, Бублик взял азимут на поликлинику, нашел там знакомого доктора (доктор строил дачу и нуждался в материалах), выклянчил бюллетень с диагнозом «грипп», неделю отсиживался дома и мазался всякими снадобьями, потому что физиономию разнесло страшным образом — она побагровела, раскруглилась, глаза заплыли, как у азиатского человека. Аким, обремененный всякими пережива-

ниями, слонялся по комнатам, лежал на диване и прочитал книжку, взятую у сыновей. Книжка называлась «Хижина дяди Тома» и была весьма печальна. Бублик даже поплакал малость, когда нашел за шифоньером недопитую поллитровку водки, запрятанную Шурочкой. В нашем герое возникли в те минуты весьма противоречивые чувства: он жалел себя, жалел негра дядюшку Тома и злорадствовал по поводу того, что частично отомщен, если иметь в виду бутылку, которую Шурка когда-то спрятала от него.

— Она со мной работала, на кассе сидела?

Аким непросто и не сразу возвратился к действительности. Шурочка глядела из кухни со вниманием, алые ее губы были кругло полуоткрыты. Бублик нагнулся, избегая этого пронзительного взгляда, и стал развязывать шнурки на туфлях, загривок его налился краснотой.

— Ты про что это?

— Я — про Селезневу! На кассе еще сидела, хной волосы красила, да и сама она малость срыжа?

Было бы лучше про рыжих сегодня вообще не вспоминать, но откуда было знать Шурочке, что с рыжими у Акима связаны нынче ассоциации самого мрачного свойства.

— Ты бы картошки поджарила все-таки, я тороплюсь.

— Куда это еще торопишься-то?

— В одно место...

Ответ был туманный, а туманных ответов Шурочка терпеть не могла, она вознамерилась было тотчас же разведать подробности, но Аким сделал несложный ход, он сказал, слегка покачав головой:

— Что-то такое припоминаю?...

— Ты про кого?

— Про твою Сильверстову...

— Про Селезневу, дурак! — Под Шурочкой заскрипел стул, она оживилась и впопыхах вытерла руки о халат. — Уощая такая, взглянуть не на что. Кочерыжка, а вот поди ж ты! — Тут последовал рассказ с подробностями, отступлениями и житейскими сентенциями, которые мы

сознательно опускаем исключительно ради краткости изложения. Суть истории была такова: вышеупомянутая Машка, девица тощая, как рыба кость, вертлявая и не первой уже молодости, к тому же мужняя и детная, взяла курсовку в пригородный дом отдыха по линии профсоюза и там, в доме отдыха, с ходу приглядела хахалю, какого-то денежного шахтера, начальника, представьте, со вставной челюстью. Ну, и скандал, конечно: любовь-то цвела пышным цветом не за синими морями, люди-то все видят, кто-то мужу и шепнул, тот — на электричку, нагрянул как снег на голову, и драка была, спектакль был устроен на потеху публике. И смех и грех!

Шурочка работала языком и чистила картошку, спина ее колыхалась, халат при закатных лучах солнца играл и отблескивал яростными красками. Аким слушал речь жены вполуха и маятно соображал, у кого бы перехватить червонец? Жена тем временем уже переменяла тему. На повестку встала арабская стенка. Поскольку, рассуждала Шурочка, с покупкой, считай, дело решенное, то надо подумать, как ту стенку поставить, чтобы смотрелась выгоднее, и кого пригласить в гости для обмывки приобретения. Быковых — это раз. Насчет Быковых никакого сомнения быть не может: пусть знают, что и мы не лыком, понимаешь, шиты. Кашиных — это два (он — директор магазина продтоваров, она — врач санэпидстанции; люди нужные). Значит, Кашины — это два. Зорин дальше. Как заполучить в гости Зориных?

— Это уж на твоей совести, слышишь! — Шурочка отошла от раковины, над которой чистила картошку, и, выгнув спину, заглянула в прихожую, где Аким в сердитой задумчивости курил сигарету. — Он к тебе вроде неплохо относится, слышишь?

Пухлые щеки Бублика вдруг подернулись сероватым налетом, глаза ненастно потемнели.

— Я дождусь пожрать или нет, корова!?

Шурочка бросила нож в раковину, он упал туда с громким и раздражительным дребезжанием, села на стул, взяла откуда-то из-за спины полотенце, вытерла руки с медлительностью палача и устала на мужа суженными глазами, не суля добра. Аким исподлобья оглядел предметы, окружающие жену, кухонный стол, где стояла эмалированная жаровница, пустой стакан, заварной чайник средних размеров и понял, что в его направлении сейчас может просвистеть любая вещь, запущенная неслабой рукой, вплоть до жаровницы, и поднялся с кресла.

— Что ты сказал, дурак!?

Аким уже держался за дверную ручку и потому был смел до отчаяния.

— Корова! Дойная корова!

Шурочка уже шарила по столу рукой, но дверь захлопнулась, замок клацнул, будто пасть хищника. Шурочка после некоторого раздумья наладила себе бутерброд с ветчиной, потом, оживившись, достала из поместительной своей сумки, висевшей в прихожей, свернутый трубкой «Журнал мод» и села в кресло, нагретое мужем, зевнула сладостно, со стоном, и, посплюнув палец, начала листать тяжелые страницы.

ГЛАВА 11

Бублику в тот вечер повезло: червонец он сшиб на повороте улицы, возле газетного киоска, где повстречал пенсионера Жаркова, бывшего трестовского снабженца, старика доброго. Сшиб, значит, Бублик червонец («до получки»), взял коньяку по пути и с пяток румяных яблок, которые только что выбросили. Яблоки он брал без очереди, сославшись перед толпой на чрезвычайные обстоятельства: приятель, товарищи дорогие, попал под трамвай, лежит в хирургическом отделении и просит фруктов. Толпа не поверила, но и не нашлось по случаю крепкого мужчины, способного оттереть наглеца от прилавка. Бублик

же деловой походкой подался на автобусную остановку. Ехать ему было недалеко. Он опаздывал и торопился: человек, согласившийся уделить полчаса для разговора, был видный, потому и занятой. Если вы живете в сибирском городе Энске, где живу я, Аким Бублик, Шурочка, Зорин и еще многие другие, нас в целом больше полумиллиона. Так вот, если вы живете в Энске, вы несомненно знаете Ролланда Мухоротова. Знаете, обязательно читали его статьи или слышали сплетни о его эксцентричности и потрясающей эрудиции. Ролланд Мухоротов заведует отделом культуры городской газеты, дает лекции по эстетике для широкой публики, он знаток литературы, как отечественной, так и зарубежной, он, кроме того, критик. Когда Мухоротов был молодым, он всех начинающих литераторов сравнивал с Львом Толстым и, поскольку никто из дерзновенных начинающих не дотягивался даже рукой и привстав на цыпочки до головы Великого, Несравненного, Вечного, приговор провинциального властителя дум был один: начинающему надлежит тотчас же бросить писать, не впадая в обольстительный соблазн, потому что, коли уж лучше, чем у Толстого, не получается, хуже творить после него никто не имеет права. Этой несгибаемой логике Мухоротов следовал до тех пор, пока на горизонте не появился, переплыв океаны, Эрнест Хемингуэй. С этим иноземцем никто из местных, увы, не выдержал конкуренции. Последнее время грозный эрудит, подобно закройщику, носит в кармане другой аршин, которым обмеривает натуру — колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Это звучит импозантно: Гарсиа Маркес, и Колумбию не сразу найдешь на карте. Она вроде бы где-то в Южной Америке, там кровавые диктаторы, потрясающая бедность и шикарные пляжи для миллионеров.

Самая пора задать вопрос, что же могло связывать рафинированного интеллигента, птицу, летающую весьма высоко и гордо, со снабженцем Бубликом, положившим жизнь на алтарь грошовых страстей? Аким Никифорович,

как известно, доставал теперь арабскую стенку с музыкальной шкатулкой в платяном шкафу, Ролланд же Мухоротов вот уже двадцатый год создавал роман-эпопею, охватывающую срединный кусок российской истории от Ивана Грозного до коллективизации. Мухоротов намекал в доверительных разговорах, что этот срединный кусок монолитит единый герой, некая вечная личность. В том — главная интрига и оригинальность произведения. Рукопись, готовые главы, никто в натуре не видел, даже три жены Мухоротова, убежавшие от него по причине неизвестной.

Мы задали вопрос: что связывало двух столь разных людей, Ролланда и Акима? — и отвечаем: Мухоротов, будучи начинающим журналистом, писал Бублику речь для приветствия по случаю всесоюзного совещания строителей. Вспомните, пожалуйста, этот момент. Речь, напицканная латынью, можно утверждать, оборвала Бублику карьеру, он не смог осилить слово «симпозиум» и был посрамлен публично. Бублик вспомнил о Мухоротове сразу, когда конструктор Боря Силкин объяснил, что для успеха операции (а в ее успехе Боря Силкин сомневался) нужна жалостливая и убедительная, главное, история, способная растрогать выдавшего виды дядю Гришу Лютикова. Он по натуре — добрейшая душа, дядя Гриша, но у него клиентура разная попадается, и опыт учит, что верить можно не каждому. Историю насчет острой нужды именно в арабской стенке Бублик выдумать самостоятельно не мог, потому он решил перекупить ее за бутылку коньяку и пяток румяных яблок в придачу у мэтра Мухоротова, тем более что они, хоть и отдаленно, но знакомы давно. Мэтр согласился по телефону встретиться, но просителя не вспомнил. Говорил Мухоротов с вялостью, неразборчиво, словно катал во рту конфету, но снизошел.

В сумеречном подъезде Аким Бублик поглядел на свои часы и вздохнул с облегчением: в запасе было еще целых пять минут, так что точка в точку получилось, слава богу.

Мухоротов наказывал не опаздывать, он сказал, что не уважает тех, которые опаздывают.

Дверь открыла тонконогая старуха с маленьким птичьим лицом, она пошла прочь не оборотившись, тянула с трудом, точно лыжи по талому снегу, мужские шлепанцы и постанывала, видать, обремененная недугом. Гость остался топтаться в прихожей, где стояло два обдрипанных кресла и журнальный столик кустарной работы, напоминающий по форме сердце или же больших размеров зад. Такие столики когда-то давно выпускала артель местпрома, теперь на эту мебель смотреть-то даже смешно. «Столько пишет человек,— рассеянно подумал Аким Никифорович.— Такую деньгу гребет, а живет как уборщица какая-нибудь». Следом появилась мысль о том, что люди искусства со странностями и им многое прощается. Мухоротов, он пребывает как бы в состоянии невесомости, и всякие там мелочи его некасаемы.

И обои бы сменить не мешало.

Обои зеленого цвета махрились, были в пятнах местами, будто на них ели щи.

«Неаккуратно квартиру содержит товарищ писатель! Неаккуратно».

Бублик с некоторой брезгливостью сел в кресло, поставил на журнальный столик пакет с яблоками и слегка вытянул натруженные за день ноги. В квартире было тихо, лишь где-то отдаленно, словно за тысячу верст отсюда, шаркали войлочные тапочки. Значит, старуха шевелится, не померла старуха.

Бублик зевнул в ладошку и приготовился ждать сколько угодно долго, он решил, что нахрап ни к чему не приведет, что хозяин этого запущенного дома — человек особый и может, не понравься ему, вытолкать вон или оскорбить бранно, поскольку его поступки и действия непредсказуемы.

Было по-прежнему тихо, лишь в подъезде тоненько плакал ребенок да кто-то этажом выше колотил молотком.

Из кухни, куда уплелась старуха, прикрыв за собой дверь, потянуло жареной рыбой. Бублик вспомнил, что не ел путем с самого утра и пожаловался самому себе на растреклятую судьбу, которая последнее время удачами не жалует. Два прокола за день: рыжий Зорин отлаял, да с женой Шурочкой схлестнулись на высшем уровне, и теперь вечером хоть домой не появляйся, ведь Шурка обязательно захочет взять реванш.

Бублик задремал было, сглатывая во сне голодную слюну, но тут в прихожую ворвался Ролланд Мухоротов в халате, какие надевают боксеры перед выходом на ринг. Махровый халат был шибко подержан, самого же гения Бублик по первости даже не узнал — гений постарел сокрушительно и как-то даже уменьшился во всех частях тела, борода его, посеченная и желтая от табака, торчала, слегка загнутая на конце, вызывающе и сердито, обшелушенный большой нос был подозрительно ал, волос на голове остался плачевно мало, рысьи глаза, тоже вроде бы обжелтенные никотином, смотрели дерзко. Дело в том, что к Мухоротову уже давно не ходили молодые таланты, начинающие литераторы, распуганные категоричностью эрудита, будто куры, а без аудитории, без робеющих слушателей корифей страдал, негодую по поводу вселенской тупости нынешней молодежи. И вообще рода людского.

— Вы ко мне? — спросил Мухоротов и остановился резко, будто споткнулся.

Гость вскочил с кресла и зачем-то прихватил в руки бумажный кулек с яблоками, нежно прижал его к груди.

— Мы с вами созванивались, Ролланд Викторович. Моя фамилия — Бублик. Я вас, собственно, давно знаю...

— Откуда же вы меня знаете? — Хозяин стоял боком, и тень от его бороды, как немалых размеров запятая, подрагивала на обоях.

— Видите ли, это было давно. Я как-то обращался к вам с просьбой, кхе...

— Вы что пишете — прозу, стихи?

— Я ничего такого не пишу, не дай бог!

— Почему же «не дай бог»? — Борода все маячила на обоях, отраженная светом тусклой лампочки, и Аким Никифорович завороченно следил за ее жутковатым шевелением.

— Таланту не дадено. Вас природа наделила выше всякой меры, а меня — нет.

— Оставим это! — Мухоротов потер скулу рукой и наморщился. Бублик слышал, как на скуле затрещали волосы. — Тогда чем могу служить, уважаемый, э-ээ?

— Аким Никифорович.

— Да, эээ... Чем могу служить?

В этот важный момент Бублик неосознанно, можно сказать, предпринял демарш, имеющий прямой и быстрый результат: он поставил на столик пакет с яблоками, который мешал, следом — бутылку коньяку. При виде бутылки Ролланд Викторович очень благожелательно вздохнул и повел рукой, приглашая в апартаменты. Бублик сноровисто расшнуровал ботинки и на цыпочках пошел по коридору, касаясь грудью спины хозяина. Спина была узка, немощная и выступала корытцем.

Кабинет Ролланда Викторовича поразил Бублика обилием литературы: самодельные полки на три стены от потолка до пола прогибались под тяжестью книг, тонких, толстых, больших и маленьких.

— И все, извините, прочитано? — наивно воскликнул гость, качая головой. — Вот это да! — Явилась сразу мысль о том, что голова у Мухоротова нормальных габаритов, даже маленькая, и как она, эта бедная голова, поместилась в себе такое обилие знаний самого разного толка и разной степени трудности. Это же уму непостижимо!

— Доля моя такая, — туманно ответил Мухоротов, прибирая на скорую руку от бумажного хлама письменный стол. Мне надо быть в курсе, уважаемый, иначе отстану, а отсталых, известно, бьют.

— Ни у кого из моих знакомых,— сказал Бублик, с почтением оглядывая полки,— нет такого количества книг, а среди моих знакомых (подразумевался перво-наперво Быков) имеются люди весьма и весьма культурные.

— Вы распечатывайте,— подсоветовал тихим, однако, весьма решительным голосом хозяин и со вздохом облегчения потер руки.

— Это мы умеем! — ответил Аким Никифорович, расковыривая пробку.— Этому мы обучены. Так вы меня, значит, не помните? А я вас хорошо помню.

— Меня многие помнят...

— Оно и конечно, вы — человек в городе весьма заметный, статьи ваши публику волнуют, чего там. Поверьте, я же откровенно! — Ни одного из многословных произведений Мухоротова Аким Никифорович, конечно же, не читал и не собирался этого делать, но почему бы мужичку не подольстить, если мужичку лесть приятна?

Ролланд Викторович поставил тем временем на стол два захватанных стакана, с маху сел, будто после нелегкой работы, и прикрыл глаза рукой, полы халата притом распахнулись, обнажив худые ноги.

— Вас знают! — пел Бублик, жалея в душе этого бедолагу, похожего на дьячка, измордованного затяжной неделей.— Вы — знаменитость!

— Оставим это,— томным голосом отвечал Мухоротов, приглядываясь сквозь пальцы, насколько справедливо прищелец разливает коньяк. Выпили они дружно, махом, взяли из бумажного пакета по яблоку, и тут Бублик не мешкая начал излагать цель своего визита. Собеседник его опять прикрыл лицо рукою, сильно отвалившись на спинку стула, слушал, и по мере того, как гость непрытким ходом, сквозь вязкое косноязычие доталкивался до существа дела, все чаще начал подергивать плечами, потом застонал, будто от колик в животе, сперва он стонал едва слышно, потом — громче. Бублик кругло растворил рот и подумал с замиранием сердца: «Припадочный, что ли!?» Тут же нарисовалась

картина: Мухоротов лежит, бездыханный, на коврике, и вокруг губ у него — дурная пена. «Кажется, искусственное дыхание в таких случаях делают? — соображал Аким Никифорович, нервно пристукивая ногой по холодному полу. — А как его производить? И телефона что-то не видеть»... Ролланд Викторович уже натурально выл, покачиваясь на стуле. Выл он безостановочно, как волк в морозную ночь. Бублик тишком выглянул в окно: не останавливается ли на улице народ? Но жизнь на улице текла чередом, и никто из прохожих еще не задирает голову. Спинай Аким Никифорович уловил какое-то движение, он обернулся и увидел, что хозяин вытянул руку в сторону двери. Вытянул и держал ее на весу.

— И до чего же я докатился! — произнес Мухоротов явственно, не опуская руки. — Это я-то должен сочинять для какого-то проходивца черт знает что! Как низко я пал! Вон отсюда, фарисей!

— Что такое? — Аким Никифорович начал догадываться, что его выгоняют, и обозлился: — Я же к вам по-человечески, выпивку принес и все такое, а вы тут, понимаешь, концерты устраиваете? Если у вас жизнь не удалась, так я-то причем здесь? Жены от вас бегут и прочее... Значит, не справляетесь.

Мухоротов вскочил со стула и, жутко выпучившись, замычал (говорить он опять не мог), указывая на дверь жестом, исполненным достоинства и немалого благородства. Бороденка его была тоже наставлена на дверь, она тряслась и вздрагивала, будто резиновая.

— Я пойду, конечно, — сказал Бублик и постно поджал губы, нацеливаясь, как ловчее забрать бутылку, за которую плачено около двенадцати рублей, однако намерение его было тонко замечено, и хозяин, обретя на секунду способность произносить связные слова, крикнул пронзительно: — Отставить! Вон!

... Матерясь и стеля, Аким Никифорович обрел себя лишь во дворе, где было уже темно и холодно. Ветер был

несильный, но по-зимнему злой «Вытолкал, сволочь! Обманул!» — На всякий случай Аким Никифорович ощупал пиджак в том месте, где еще недавно в кармане покоилась бутылка, но карман был пуст, лишь в кулаке, крепко сжатом, осталось надкусанное яблоко. О ноги попробовала потереться лохматая собачка, наш герой пнул собачку и запустил в нее яблоком, но не попал, отчего расстроился еще пуще. «Вытолкал, подлец! Драться с ним, что ли? От негодяй!».

Бублик свернул за угол и поплелся куда глаза глядят походкой человека, вконец задавленного судьбой.

ГЛАВА 12

Бублик понял, что путь к арабской стенке лежит теперь через дядю Гришу Лютикова и что другого не дано. Но как подъехать к неподкупному общественному деятелю, чем его убаговолить? Целый вечер, усевшись за школьный столик одного из сыновей, Аким Никифорович с карандашом в руке, туго сопя, выдумывал слезную историю, как советовал Боря Силкин, в истории той вырисовывался по стандарту дедушка, ветеран гражданской войны, соратник Семена Михайловича Буденного, опаленный к тому же и порохом сражений под Сталинградом в одна тысяча девятьсот сорок третьем году. Дедушке исполнилось...? Сколько же ему исполнялось? Допустим, восемьдесят пять лет. Вроде подойдет. Так вот, многочисленная родня (Бублик решил представить себя внучатым племянником) надумала в честь выдающейся даты подарить незабвенному дедушке стенку арабского производства. Почему именно арабского, поинтересуются? Ответим: она с музыкой, а дедушка смягчает даже при звуке барабана, и ему будет весьма приятно слушать музыку по несколько раз в день, не включая проигрыватель и другую технику. Еще вариант. Имеется заслуженная бабушка, она, на манер Анки, была пулеметчицей при Чапаеве. Теперь бабушка сильно больна,

и вот родня надумала... Ну, и так далее. Аким Никифорович усердно чертил в записной книжке кружки и стрелки, голова его работала с полной возможной нагрузкой. Шурочка, заинтригованная одухотворенностью, легшей печатью на лицо мужа, заглянула крадучись через его плечо и выставила лодочкой нижнюю губу, еще раз убедившись в том, что ее благоверный ни на что путное не способен. Вылазка Шурочки была не замечена, поскольку в тот миг рождался вариант третий. Один заслуженный производственник, ветеран труда, уходит на пенсию, и общественность с широким кругом товарищей решила вручить замечательному производственнику стенку арабского происхождения. Почему арабского происхождения? Да все потому же — вышеозначенный ветеран любит музыку, особенно классическую, но не пренебрегает и легкой, песенной. Так что подарок в масть.

Бублик поднялся из-за стола отдохнуть, бросил карандаш с небрежностью. Карандаш покатился и упал на пол. Шурочка, подобрав ноги, сидела на тахте и перелистывала «Огонек». Дело было вечером, и халат Шурочки играл, как ночное небо. Бублик собрался поначалу растревожить жену ехидной репликой, собрался сделать заявление в том духе, что дома опять жрать нечего и что «Огонек» может погодить, но после недолгих колебаний от дерзости такой воздержался, памятуя о последствиях: в отместку обязательно будет спрошено, почему до сих пор в квартире нет нового гарнитура? Женщина Шурочка сообразительная и враз, если возьмется, докопается до правды. Аким вздохнул и опять сел рисовать кружочки да стрелки. Пора подвести некоторый итог. Три варианта выковала творческая фантазия нашего героя: дед, персональный пенсионер союзного значения, бабушка, пенсионерка республиканского значения и ветеран труда, пенсионер областного значения. Но ведь поинтересуются дотошные общественники во главе с Лютиковым фамилиями столь знаменитых личностей, а что им ответить, чем закрыть козырную карту? А не-

чем крыть! Как же изловчиться? «Явлюсь я, — думал Бублик, — и скажу: представляю трестовский профсоюз и прошу убедительно помочь раздобыть арабскую мебель для детской больницы. Дети в той самой больнице, допустим, страдают чесоткой? Чесотка не тянет, чесотка общественников не разбередит... Дети, допустим, глухонемые от рождения? Тогда зачем им музыка? Не тянут, значит, и глухонемые. А если чахоточные? Это нормально, пожалуй. Итак, лежат туберкулезные дети, и им, конечно, всякие тонкости не чужды, они — нежные. Вот профсоюзы и обзаводились тем, как проявить к обиженным судьбой малюткам отеческое участие. Деньжонки кой-какие трест имеет и почему бы не порадовать соплячков таким способом, почему бы не купить им заморский гарнитур с музыкой? Здоровье набрать можно ведь не только с помощью хорошей еды и внимательного ухода». Аким Никифорович устало сложил руки на коленях и покачал головой, дивясь собственной находчивости, и едва не заплакал даже, жалючи детей, которым беда застила ясное солнце.— Бедные ребятки! — сказал вслух Бублик и опять с небрежностью бросил карандаш. Жена Шурочка, сощурившись, рассматривала в «Журнале мод» длинноногих французских красавиц в пляжных костюмах. Красавицы демонстрировали себя очень смело, и позади них было очень синее море.

Дверь была обита черным дерматином и гляделась солидно. За такими дверями живут размеренно, негромко, копят средства на «Волгу» и пишут кандидатскую диссертацию.

Акиму Никифоровичу Бублику, ощущая перебои сердца, размеренно подышал, округлив губы, и осмотрел ботинки — не грязны ли? Ботинки были чистые. Грудь приятно холодила бутылка коньяку, купленная за двенадцать рублей, опять перехваченных до полочки. Посреди двери

белела кнопка звонка, напоминавшая выпученный глаз. Бублик хотел уже нажимать кнопку, но притормозил, расстроенный каким-то воспоминанием, сперва смутным, потом уж и до очевидности ясным. Аким Никифорович представил вдруг, будто он стоит перед учительской лет этак двадцать пять назад, перед дверью, обитой вот так же дерматином, стоит поникший, ковыряет пальцем в дырочке за косяком (на пол сыплется серая цементная мучица), сопит и бычится, копя в себе зло на учителя математики Байкалова, который опять велел явиться на круг и ответить педагогическому коллективу, что он, собственно, собой представляет и когда, собственно, начнет учиться?

— В школу ходят не только штаны протирать? — говаривал учитель Байкалов и вздыхал, поворачивая худое лицо в сторону окна.— Ты феноменально ленив, Бублик. И — нелюбопытен.— Очки Байкалова отражали тополя на улице, людей, идущих по тротуару, солнечные блики. На дворе была весна, земля пахла тестом, на кустарнике прорезался лист. Бублику становится тягостно, его осеняет соображение, что неплохо бы повеситься. Учитель Байкалов тоже непрочь повеситься, несмотря на дивную весну. Обоим скучно, поскольку оба знают: им не дано ничего изменить.

— В школу ходят не только штаны протирать,— учитель Байкалов морщится от того, что повторяется, но ничего другого в голову не темяшится: на этого румяного тунеядца были потрачены все путные слова.— И любопытства у тебя никакого. Один аппетит у тебя и остался. Одного аппетита мало, видишь ли...

— Я исправлюсь,— вставляет по сценарию Аким Бублик, потому как без этого заклинания учитель Байкалов не отпустит. А на дворе — теплынь, коты на балконах греются. Вешаться уже как-то не хочется.

— Что ж, ступай...

Вслед учительница ботаники по прозвищу Фасоль на всю учительскую венчает разговор:

— Напрасно вы с ним, Иван Иванович, канителитесь — безнадежно. Зажирел. Мать у него, правда, тоже толстая, но хищница, она этого недоросля вытянет, помяните меня, она ему еще высшее образование даст.

— Вы слишком, однако!

— При наших-то порядках и козел способен диплом получить.

— Это вы слишком, однако!

...Мы не властны над памятью.

Возьмем того же Бублика. Он бы и не прочь начисто забыть школу, детство, студенчество, но прошлое напоминало о себе иногда вроде бы и совсем без повода. Подумалось: «К чему это Байкалов явился? Необъяснимо, можно сказать, явился, однако ведь и не к добру». — Аким Никифорович еще раз осмотрел себя, постарался нагнуть на лицо выражение усталой значительности и нажал кнопку звонка.

В прихожей, квадратной, светлой, с большим зеркалом по правую руку, встретила гостя пожилая женщина. Она, сложив руки под фартуком, смотрела весело и добро. Голова женщины, пепельно седая, пышная, была похожа на одуванчик. Бублик шаркнул ногами о мокрую тряпку у порога и кивнул. На душе его враз полегчало: «Такая хорошая тетка!» — подумал он и еще раз кивнул — для пущей важности и подстраховки.

— Мне б Григория Лукьяновича на минутку?

— Он дома, — хозяйка жестом, полным доброжелательности, с улыбкой показала на коридор, ведущий в глубь квартиры. — Там они, в шахматы играют. Приболел что-то мой Лукьянович, знаете ли.

— Прискорбно! — сказал Бублик, разуваясь. Лицо его набрякло и покраснело. — И сильно приболел?

— Простуда.

— Счас у всех простуда — весна.

— Весна, да.

— У меня вот мать все жалуется — кости, говорит, мозжат. Счас у всех простуда.

— Сюда, пожалуйста.

Бублик разулся, присев на корточки, чтобы не выпала из кармана бутылка, поправил волосы перед зеркалом, пошел в носках и на цыпочках за хозяйкой.

Григорий Лукьянович Лютиков сидел в кресле, колени его прикрывал серый плед. Был Лютиков мзгуч, внушительен и аристократичен, как, например, Федор Шаляпин в старости. От дяди Гриши веяло спокойной силой и достоинством, волос на его большой голове не посекея, лежал он в стихийном, как говорят, беспорядке, черный впроседей, и не портил общего весьма благородного облика. Всякий, кто встречал старика в кабинетной тиши или на шумном перекрестке, обязательно склонялся к твердому умозаключению, что этот величественный человек знал славу и лучшие дни. Особой славы, как известно, Григорий Лукьянович не знал, но не в том суть.

Напротив дяди Гриши, по другую сторону квадратного столика, сидел сухой человек с лицом острым и сердитым. На сердитом том лице господствовал нос — тоже острый и тоже сердитый. Нос нависал монументально и давал еще лицу выражение брезгливости. Создавалось такое впечатление, что приятель дяди Гриши только что нюхал тухлое яйцо. Это был дядя Ваня по прозвищу И Другие. Старики играли в шахматы.

Дядя Гриша кивнул Бублику на стул и сказал, обращаясь к дяде Ване:

— А мы вот так походим!

— А мы вот так!

— А мы вот так!

Потом дядя Гриша засмеялся тихим смехом и задрал голову к потолку:

— Опять, Иван, мат тебе! Ты сегодня что-то совсем бестолковый?

Дядя Ваня как-то неуверенно вынул из кармана платок, обмотал его воронкой вокруг носа, подышал громко, наморщив лоб, хотел, видимо, чихнуть, но не чихнул, спрятал платок назад и вздохнул.

— Не заболел разом? От меня ведь можно заразиться, Ваня, говорил тебе — садись подальше, так не послушал.

— А я и не больной вовсе.

— Чего же проигрываешь подряд?

— Голова не варит сегодня что-то — наверно, к перемене погоды.

— Может, оно и так,— миролюбиво согласился дядя Гриша и тут вспомнил про Бублика, поворотился к нему, подправил плед на коленях. Под пледом были тапочки из велюра с бантом посередке. Симпатичные тапочки, пошитые для уюта и благополучной домашности. Бублик туго покашлял и привстал:

— У меня к вам дельце, Григорий Лукьянович...

— Без дельца к нам не ходят,— ответил дядя Ваня и приоткрыл рот, ощупывая двумя пальцами, с нежностью, кончик носа.

— Оно понятно,— сказал Аким Никифорович: — Вы — люди заметные.

— Ты короче! — отрезал дядя Ваня и чихнул вяло, почти неслышно, будто кот.

— Я к вам, собственно, от профсоюзов,— начал скороговоркой Бублик, клонясь и нащупывая рукой у груди холодную бутылку, принесенную с собой.— Просьба у меня к вам великая. У нас к вам, так вернее будет.

— От каких таких профсоюзов? — спросил дядя Ваня, подозрительно сощуриваясь.

— От строительных. Я представляю трест Гражданстрой.

— Что-то я не видел таких в тресте?

— Дай, Иван, человеку изложиться,— сказал дядя Гриша благодушно.— Зачем перебиваешь?

— Не видал я таких молодцов в тресте!

— С просьбой я к вам. Дело, значит, такого свойства. Деликатного, я бы подчеркнул, свойства...

— Не видал я таких в профсоюзе!

— Есть у нас санаторий для детей со слабыми легкими, для туберкулезных, если говорить откровенно, детей...

— Нет у них такого санатория! Есть загородный интернат для детей с дефектами речи!

— И вот мы подумали: приближается весенний праздник — Первомай...

— Интернат этот по линии просвещения, трест же шефствует — это верно.

— Да помолчи ты, ради бога, Иван!

— Он врет, Гриша! Для заик интернат предназначен, я же в курсе. Выдумал — чахоточные дети, это в наше-то время, дурак!

...— И вот родилась у нас, значит, мысль подарить ребятишкам новую мебель за наличный расчет.

— Там племянник мой учился — Олег. Ты же знаешь его, Гриша? Женат теперь, а все одно заикается, будто каша у него во рту горячая. И особенность одна наблюдается: когда матерится, все у него ладно идет, как у Левитана по радио.

...— И родилась у нас, значит, мысль подарить мебель. Арабскую.

— Верно, поступали недавно арабские стенки,— пояснил дядя Ваня исключительно для дяди Гриши, не обращая на Бублика ни малейшего внимания.— Помню.

...— Стенка эта с музыкой, открываешь дверцу и — песенка льется. Приятно же! — Бублик осторожно, как на похоронах, сел, терзаемый сомнениями: выставлять бутылку тотчас же или чуть позже? Обычно внутренний голос подсказывал, как быть, а тут внутренний голос молчал.— Приятно же, когда музыка играет. Дети это любят.

— Слушай, Гриш, я всё про Олега, про племяша-то. Еще одна особенность: на жену когда лается, тоже все ясно произносит. Ить надо же так! А на работе, он слесарь при автобазе, сплошное заикание. Ни хрена не разберешь, ну — чисто обезьяна: бу-бу, а, ы-ыы. Так и не вылечился. Я его в санаторий устраивал.

Бублик тем временем пока что утвердился в мысли: с бутылкой высовываться рановато. Дядя Гриша смотрел куда-то поверх головы гостя рассеянно и грустно. Бублик, чтобы отвлечь державного старика от побочных всяких думок, сказал громко:

— Для детей стараемся, без корысти!

Дядя Гриша не очнулся, зато дядя Ваня был начеку:

— Врет он! Чтоб профсоюзы да мебель не достали — быть такого не может! Ты, молодой человек, туфли на высоком каблуке носишь?

Акима Никифоровича последний вопрос озадачил и расстроил:

— При чем здесь туфли?

— А при том. На высоком каблуке туфли у тебя?

— Ну, на высоком.

— Так и знал!

— Что это вы знали?

— Туфли на высоком каблуке, по моим наблюдениям, носят мужчины с половыми отклонениями и также проходимцы.

Бублик после этого заявления слегка отвесил нижнюю губу, а дядя Гриша засмеялся, и кресло под ним заскрипело.

— Ты, Иван, где такой мудрости набрался? И за что оскорбляешь человека?

— Я не оскорбляю! Конечно, теперь такие туфли многие приобрели, а первыми напялили развратники, это мое наблюдение. Вот он, — Дядя Ваня указал тонким пальцем на Бублика. — Уверен, одним из первых в городе каблуки достал, а?

Так оно в общем-то и было: жена Шурочка урвала модную обувь на базе, минуя прилавок. Деньги на покупку давала Акимова мать. Операция проводилась в лихорадочной спешке.

На вопрос дяди Вани Бублик предпочел не отвечать, лишь пожал плечами, выказывая видом своим, что хоть он и обижен несправедливым наскоком, но готов смолчать исключительно ради уважения к этому дому.

— Дети, они без ласки не могут,— мыкнул Аким Никифорович, ерзая: Дюжая его шея залилась закатной краской.— Цветы нашей жизни и всякое такое, верно я говорю, товарищи?

— Врешь ты все! — Дядя Ваня махнул рукой, и нос его, казалось, вмиг сделался еще больше, а лицо — еще мрачнее.— Кто тебя сюда прислал, интересно?

— Профсоюзы.

Дядя Гриша снял плед с колен, аккуратно свернул его вчетверо и положил на расстеленную газету под ноги себе, потом дотянулся до Бублика, потрогал его плечо ладошкой, потрогал ласково и снисходительно:

— Мы тут стреляные воробьи, товарищ. Как зовут-то тебя?

— Аким.

— Мы — битые и стреляные, нас путать не надо. Правду скажешь, послушаем, дальше врать будешь — на дверь укажем.

— По загревку еще навернем! — решительно добавил дядя Ваня.— Я не смогу по загревку-то, Гриша вон еще при силе, он управится.

— Не стану я его бить,— сказал дядя Гриша, улыбаясь глазами.— Он ничего вроде парень.

Дядя Ваня же топорщился, как мокрый ворон на телеграфном проводе, осуждающе качал головой и сопел с легким присвистом:

— Ходят тут всякие! Ты не верь ему, Гриша, и прочь гони, пока он тебе мозги не запудрил.

— Да погоди ты, Иван, на самом-то деле, слово сказать не даешь! У вас и правда ботинки на высоком каблучке, товарищ?

Аким Бублик обиженно кивнул: правда.

— И не наши, европейские или мексиканские! — вставил дядя Ваня, оживившись. — Такие вот, как этот, обязательно заморскую обувь носят. Такие, как этот, другой цели в жизни не имеют, кроме как достать японский транзистор или американские джинсы. За побрякушку или тряпку он в попы пойдет или в солоньи-разбойники, душу свою мокрую за это заложит не сморгнувши! Я на таких, слава богу, посмотрелся.

— Не разоблачай, Иван. Хватит разоблачать-то. — Дядя Гриша подобрал с газеты плед, положил его на колени себе опять, призадумался накоротке и вынес решение:

— Вы ступайте, пожалуй, гражданин. Ступайте себе...

Аким Бублик прикоснулся к бутылке в кармане, и ему почудилось, что стекло горячее, он услышал, как беда, приближаясь неминуче, стучит сапогами. У беды той сапоги были кованы железом, будто у завоевателя. Нежданно нахлынул сладкий запах стружек, томительный дух соснового смолья, встала картина из детства: отец за руку привел Акима в столярку на заднем дворе центральной городской почты. В столярке работал отцовский знакомый, горновой, списанный из доменного цеха по причине слабого здоровья, чернобровый и усатый Игнат Сыромятников, бывавший в доме Бубликов по праздникам и просто по субботам. Столяр встретил их радушно, усадил на лавку в углу, заваленном стружками, похожими на пену, которая тряслась мелко и вздрагивала, когда за стенкой кто-то включал мотор.

— Вот, Игнат, — сказал отец со смущением. — Парень самокат хочет иметь, я у механиков подшипники достал.

— Какой он хочет иметь самокат?

Отец пожал плечами: он не знал, какой нужен самокат. Столяр вынул из-за уха карандаш, велел Акиму нарисо-

вать машину, растолковать по ходу, что и как. Агрегат был нарисован коряво, на куске фанеры, отец пофыркал иронически, но Игнат Сыромятников приветил пацана и погладил по голове: хватка есть, мол, и общий замысел тут уловить вполне даже можно, и предложил, разглаживая усы мундштуком:

— Если парнишка загорелся, пусть сам тут вот строгают и пилит. Главное — самому изладить, тогда и радость будет настоящая, а готовое брать — оно так и неинтересно. Я тебе, Акимка, верстачок налажу, и дело в шляпе. Приходи, когда уроки приготовишь, и работай себе. И мне веселей будет: я, брат, мужик компанейский.

То были славные дни. Самые, наверно, славные в жизни. Самокат Аким делал с месяц и не торопился, потому как столярничать ему нравилось, он даже засыпал с мыслью, что назавтра все повторится. Но однажды прибежала мать, отлаяла доброго Игната за то, что тот привечает сына, и препроводила своего ненаглядного пинками прочь, приговаривая по дороге: сам всю жизнь горбатится (она имела в виду столяра) на черной работе и молодежь тому учит. Своих детей он небось в столярку не водит, чужих эксплуатирует.

— Чтoб ни ногой больше сюда! — Мать указала Акиму рукой на серое здание почты и наделила сына последней затрещиной, отпущенной уже не со злом, скорее для профилактики. Пацан по первости намеревался было восстать против деспотизма, имел мысль пожаловаться отцу, но позже, когда обида поулеглась, решил смолчать, поскольку с матерью портить отношения было невыгодно.

...Дядя Гриша, пока Аким Никифорович, отрешившись от сущего, предавался воспоминаниям о столярке, ждал, когда гость стронется со стула и удалится, не теряя достоинства, когда наденет в прихожей свои туфли на высоком каблуке, свидетельствующие о сексуальных отклонениях, и закроет за собой дверь. Дядю Гришу несколько тревожило, что гость закаменел, расстроенный донельзя отка-

зом, и способен, чего доброго, немедля грохнуться на колени и пустить слезу. И такое бывало. Правда, рыдали до сих пор женщины, но ведь и мужик нынче пошел слабый — длинноволосый, на каблуках, с дряблым задом. Дядя Гриша слегка обеспокоился, косясь на дядю Ваню, который сосредоточенно вертел в руках черного шахматного коня, он даже понюхал его, коня, и остался чем-то недоволен.

Аким Никифорович Бублик наконец растормозился — утер лицо ладошкой, хлюпнул губами, будто отпробовал с ложки горящих щей, и помотал головой.

— Разрешите еще слово, граждане почтенные старики?

— Разрешаем, что ж...

Дядя Ваня поставил коня на доску, слегка заинтригованный, хозяин же крикнул в открытую дверь:

— Наташа, принеси, пожалуйста, квасу, пусть товарищ квасу выпьет, волнение уберет.

— Я тоже квасок принес, — сказал Бублик, испытывая облегчение, и со стуком поставил коня среди разбросанных шахматных фигур. — С вашего позволения, кхе. В гости шел, да вот к вам завернул...

— Он нас купить хотел, Гриша! Гони ты его, а? Я не справлюсь. — Дядя Ваня скорбно поник носом. — Годов бы десять сбросить, я бы его в скулу вдарил, а теперь ведь побьет — они нынче жестокие.

В комнате появилась давешняя седая женщина, в руках у нее был черный поднос с запотелым графином и стаканами. Женщина увидела коня и вопросительно посмотрела на дядю Гришу:

— Закуску приготовить?

Дядя Ваня ответил за хозяина категорическим тоном:

— Рукавом закусит, они нынче все больше в подворотнях накачиваются — привыкли.

Аким Никифорович тряскими руками отколупал пробку, налил себе в стакан порядочно, опрокинул порцию махом и запил коняк квасом, туго шибанувшим в нос.

— Уж извините.

— Извиняем.

Дядя Ваня крикнул за Бублика и с завистью отметил:

— Один пьет! Они такие.

Бублик же настроился на исповедь и начал ее со случая, приключившегося в свадебный вечер. Они с Шурочкой стояли на балконе, была луна, сзади гомонились гости, родня и всякие знакомые. На Шурочке была фата. Шурочка много и беспричинно смеялась, Аким целовал ее украдкой и, целовавши, сдернул с уха жены дешевую серьгу, которая упала с третьего этажа на асфальт. «Так что вы думаете! Ведь полезла драться, глаза под лоб завела, стерва! Побежал я искать безделушку, все штаны из дорогого материала «метро» (теперь такого и в помине нет!) извозил. Шарю по тротуару, а сам, можно сказать, холодную слезу глотаю. А цена той серьге — копейка в базарный день, товарищи старики! Так и началась семейная жизнь, будь она проклята! Не развелся сразу по слабости характера, а теперь куда денешься — двое мальчиков растут. Года, можно сказать, катятся, а счастья нет, каждый день одно расстройство, растудить твою малину!»

Монолог, произнесенный поспешно и невнятно, стариков не колыхнул, тогда Бублик взял нотой выше и подробно остановился на общей драматичности своей судьбы: с детства ни в чем не везло — мать была, отец был строг как прокурор, учителя в школе не любили по причине, надо полагать, излишней упитанности («Ел мало, но толстел из-за плохого обмена веществ в организме»), бык бодал, собаки кусали, комары пили кровь с исключительным азартом, а что касается пчел, то ни одна пролетающая не пропускала, даже трутни пробовали жалить. В яму падал, в мелкой речке тонул, однажды даже соды вместо сахара в чай положил и проявителем вместо постного масла сдобривал кашу. В зрелые же годы жена поедом ест, она — как старуха из сказки русского поэта Пушкина про золотую рыбку: все ей мало. Это она арабскую стенку со звоном хочет. Не достану стенку эту — значит вешайся или стреляйся.

— Выручайте, товарищи, христом-богом молю! — Аким Никифорович еще отпил из стакана, поперхнулся, закашлялся, из глаз его заструились натуральные слезы.— Люди вы добрые и меня поймете. Конечно, я слабый, но ить геро-ем-то не каждый родится, товарищи! Правда?

ГЛАВА 13

Утро выдалось ясное. Солнце только что поднялось, но уже припекало совсем по-летнему. Над тополями, если присмотреться, висел зеленый туманец, сильно про-реженный небесной голубизной: это почки пускали лист. Зелень была далекой, кисейной и едва угадывалась. По центральной улице двигалась поливальная машина, распус-тив кривые усы. Вода слышно шипела, пенилась, окутанная радугой, и скатывалась в стоки; асфальт был лаковый, и в нем на короткое мгновение, будто в зеркале, отразился город. Воздух был еще свеж, пахло мокрой травой и же-лезной окалиной.

Олег Владимирович Зорин, заместитель председателя, шел не спеша по тротуару с перекинутым через руку плащом и с удовольствием ступал в воду, текущую по тротуару. Ручейки напоминали головастика, которые, шевелясь, заглатывали пыль. Зорин был в том благодушном и созерцательном настроении, какое озабоченному человеку выпадает как подарок. Этот мир нравился Зорину, он говорил про себя, насвистывая: «Солнце — хорошо. Вода — тоже хорошо. И воробей — хороший». Воробей сидел на растопыренной ветке акации, низко, над самой чугунной решеткой, огораживающей скверик, и сидел он фертом. Это был особый воробей, на голове его, на макушке, перо топорщилось, и казалось, будто птица в пляжной кепочке с козырьком. Зорин подступил к воробью ближе и спросил:

— Ты это чего?

Зорина в общем-то многое интересовало: почему, например, воробей вырядился в кепку и почему сидит здесь, когда надобно лететь во всю прыть? «Если бы у меня были крылья,— думал Олег Владимирович.— Я бы взвился. В лес бы улетел, и всякое такое. Или на гору куда-нибудь, чтобы с высоты все видать было. Очень даже интересно». Птичка вежливо скособочилась, и в глазу ее, маленьком, будто точка в конце строки, сверкал белый огонек.

— Ты чего это?

Птица показалась в воздухе, словно подвешенная на резиновой нитке, и растаяла в синеве, растворилась.

— Тебе везет! — сказал Зорин.— Ты летаешь. А почему, собственно, человек такой обделенный? — Зорину стало жаль, что он, как и другие впрочем, лишен удела такого— возноситься и опускаться по желанию и в любом месте, даже в джунглях, где на деревьях обезьяны, а внизу — разные хищники.

Зорин пригрозил мальчишкам, которые вдвоем катались на велосипеде по проезжей части, и больше никаких нарушений не обнаружил. Жизнь текла размеренно и приподнято, потому как выпал прекрасный весенний день и даже черные автомобили сверкали, будто соломенные стога на колесах.

В приемной, прохладной и большой, заместитель повесил плащ на вешалку и поманил секретаршу к себе в кабинет. Та прицесла под локотком папку с надписью «неотложное».

— Что там у нас? — осведомился Зорин, играя бровями, и запел вдруг, притопнув ногой: — «Сухой бы я корочкой питалась, сырую воду б я пила». Секретарша, молодая и яркая, сделала на лице выражение в меру приветливое и в меру интимное. Заместитель же успел пропеть еще одну строфу: «Я только бы тобою, милый, наслаждалась и тем бы счастлива была». — И что там у нас?

Папка была распахнута, как ворота, секретарша наклонилась к столу и отчеканила:

- Звонил Быков.
- И что?
- Просил с ним связаться.
- Просил, значит...
- Настойчиво просил.
- Да.

— Ну, ступай. И соедини меня с Быковым-то. Чего это ему занудобилось так срочно? Сухой бы я корочкой питалась, сырую воду б я пила...

...В то утро в город с попутной машиной нагрянул егерь Вася Мясоедов, сдернул, можно сказать, управляющего Быкова с постели и объяснил, попивая чай из большой кружки, на которой изображались три русских богатыря, какая нужда заставила его ехать ночью по плохой дороге из своей глухоманной деревеньки. Мясоедов обладал темпераментом холерическим, и ему со вчерашнего дня не дает покоя вопрос о том, есть на свете справедливость или нет ее вовсе?

— Женишь тебя надобно, Васька! — ответил в сердцах Феофан Иванович Быков, прикрывая ладошкой зевок. — И срочно.

- Ты умывайся, я приехал действовать!
- Семи еще нет, куда вставать-то?
- Я в гости к тебе приехал, а ты спать будешь?
- Да уж какой теперь сон!

Мясоедов в своих Пихтачах, мучаясь бессонницей, выковывал, оказывается, план мести. Он не мог простить заместителю председателя Зорину, что тот третий год уже сулит привезти из Москвы бензопилу и электрорубанок, но не везет. «Все ему, понимаешь, некогда!»

— Я тебе бензопилу достану! — Феофан Иванович, приплясывая, надевал спортивные штаны и кряхтел. — И рубанок я тебе достану.

— Все вы — трепачи! Я вас как людей принимаю, рад вам, понимаешь, дела неотложные бросаю, баню топлю, по тайге с вами шастаю, а вы?

— А что мы?

— Зажрались вы, начальнички! Совести у вас ни на грош не осталось.

— Ну уж?

— Не так разве?

Быков почувствовал некоторый укор совести, потому что в словах егеря была доля правды: Вася времени на гостей не жалел. Он — широкий человек, Мясоедов. И ничем, собственно, не обязан ни Зорину, ни Быкову. Из песни слов не выкинешь.

— Я тебе достану рубанок. И бензопилу.

— Сыт я вашими посулами!

— Что же ты надумал?

План был прост и коварен, если знать характер заместителя председателя: мужик он неплохой в общем, Зоринто, но имеет слабость изгаляться над ближним. Шутки его, надо отметить, не всегда и безобидны, однако, как только начинал кто-либо шутить над Зориным, тот немедля лез, что называется, в пузырь и наливался яростью. Так что при ближайшем рассмотрении заместитель председателя относился к числу легкоранимых и, обращаясь с ним надо было весьма осмотрительно.

— Был у меня этот, как его?... — Мясоедов пощелкал пальцами и наморщил лоб в мучительной думе. — Ну, тот, что из бани у меня вывалился?...

Быков тоже наморщил лоб и сел в кресло, запутавшись в штанинах — он никак не мог совладать с одеждой. Быков уже знал, о ком идет речь, но тоже, хоть убей, не мог вспомнить фамилии.

— Ну, этот... Блондин такой? Из бани в речку упал, помнишь?

— Колобок, по-моему. Афанасий? Он у меня в тресте работает. По снабжению еще...

— Нет, не Колобок. С хлебулочными изделиями его фамилия связана, это точно. Но не Колобок.

— Сайкин, может?

— И не Сайкин.

— Ну, хрен с ним, потом разберемся. Был, говоришь, у тебя?

— Был. И просил посодействовать насчет стенки, которую тебе Наташа купила. Турецкая стенка-то?

— Арабская.

— Ну да, арабская. Ты, мол, позвони Зорину, пусть такую же достанет.

— Так вместе же звонили, забыл, что ли? В Москву звонили. Зорин после ворчал на меня — от великих, мол, дел отвлекаешь.

— Ворчал, а теперь взовьется. Он — деятель старомодный, всякие там блаты не жалует. Определенно взовьется.

— Неловко получится...

— Сдрейфил, да? Ты спроси у Наташи: может, этот Сайкин достал уже, стенку-то, тогда я с другого бока зайду?

— Ладно, рискнем.

...Наконец-то Зорин появился в кабинете — так сказала Быкову по телефону секретарша из приемной горисполкома, егерь заерзал на стуле, вытягивая шею, и борода его, черная с медным отливом, будто подпеченная на костре, воинственно выпятилась. Управляющий Быков пристально глядел на бороду, вздыхал и мямлил в трубку о прогнозе погоды на ближайшие сутки — жаловался, что когда, мол, женщина по телевизору рассказывает о циклонах и антициклонах, он никак не может уловить, откуда, собственно, следует холодный воздух и откуда — теплый.

— Ты понимаешь, откуда и как движется воздух?

Зорин, оказываясь, понимал про погоду по телевизору, и Быков ему с оттенком неприкрытой лести позавидовал:

— Светлая у тебя голова, Олег Владимирович!

Поговорили еще с пяток минут о городских новостях, потом Зорин, естественно, спросил:

— Зачем звонишь-то? Про погоду опять спросить?

— Нет,— и Быков, глотая слова, начал про то, что мир

тесен и что ближнему помогать все-таки надо, согласно христианским заповедям.

Зорин вел разговор легко и все пел про себя, воздев глаза к потолку, старинную русскую песню «Сухой бы я корочкой питалась».

— Не умеешь ты коротко объясняться, Феофан. Ни свое, ни мое время не ценишь. Ты мне притчи не цитируй, ты конкретнее.— Заместитель слегка ударил ребром ладони по столу.— Весна, она, конечно, расслабляет, но мы с тобой, брат, чиновники, а чиновники, брат, существа холоднокровные, как утверждают фельетонисты из журнала «Крокодил».

— Согласен. Но хороший чиновник слову своему хозяин, не так ли?

— Допустим...

— Вот я тебя и поймал! У меня Вася Мясоедов сидит...

— Привет ему передавай горячий. Пусть лучше трубку возьмет.

— Он не хочет трубку брать, он тебя презирает...

— За что же это он меня презирает?

— Ты ему бензопилу который год сулишь?

— Да, с бензопилой неувязка, знаешь, он прав. В Москве ведь время никак не выкроишь,— Зорин тяжело вздохнул.— Передай, что постараюсь буквально на днях спроворить ему пилу. И рубанок. Пусть все-таки трубку-то возьмет, лиходеи.

— Не берет. Он тебя дважды презирает.

— По какой это причине дважды-то?

— Ты еще стенку обещал достать тут одному человеку. И я тебе звонил в Москву насчет того человека. И Вася просил, и Наташка моя просила.

Зорин покраснел густо, левая его нога запрыгала под столом, он, придерживая колено рукой, заорал так, что с оконного карниза, разбежавшись вязкой постудью, упал в пустоту сизый голубь.

— А этот ваш наглый блондин вообще ничего не получит! — Зорину воочию представилась румяная физиономия Бублика, его панибратская манера держаться, дурацкие подмигивания, не менее дурацкая ухмылка, ботинки на высоком, как у женщин, каблуке, штаны, плотно обтягивающие вислый зад, запах духов, источаемый в обилии этим, с позволения сказать, мужчиной, и голос заместителя исыял на петушиной ноте.

Борода егеря затряслась мелко — егерь смеялся. Зато управляющий Быков посмурнел, качая головой, — он думал о том, что возраст у Зорина уже не для шуток: хватит, чего доброго, мужика кондрашка, тогда настоящая беда будет. Почти у всех, кого близко знал по службе управляющий, имелась болезнь сердца, нажитая в заседательских треволнениях. Быков осторожно положил трубку и покачал головой, глядя пустыми глазами на бороду Мясоедова, которая уже не вздрагивала: егерь тоже слегка загорюнился, испытывая укор совести.

— Женить тебя надобно, Васька! — сказал с решительностью управляющий Феофан Иванович Быков. — Взбрыкиваешь ты, как телок, солидности нет в тебе, Васька. И меня, дурака, втравил в историю!

Зорин юмором обладал, даже в избытке, но завихрился не на шутку, имея на беду свою тоже, как и Вася Мясоедов, кавказский темперамент. Олег Владимирович велел секретарше тут же соединиться с начальником торгова и, когда говорил с начальником, сильно заикался:

— Хочу на твоих складах побывать, где мебель отгружают.

— У меня совещание, извините. Из области товарищи приехали. Дать человека?

— Не надо, я сам.

На базе горторга произошло паническое шевеление, когда на обширный заасфальтированный двор вкатила черная «Волга». Навстречу выбежал откуда-то из таинственных

пакгаузных недр пожилой мужичок в фуфайке и войлочных тапочках, почтительный. Зорин пожал мужичку руку и услышал, что имеет дело со счетоводом, услышал также, что сегодня пятница и все руководство на совещании, вплоть до заведующего Сима Чемоданова.

— Как, простите, фамилия заведующего?

— Чемоданов. Сима.

Зорин поморщился: ни в фамилии, ни в имени не было солидности, заместителю представилось, что командовать этим хозяйством с верстовыми бараками в камне должен, к примеру, Генералов Варфаломей или Бугаев Никандр, а тут на тебе — Сима Чемоданов. «Наверняка бардак развел этот деятель, — подумал Зорин, шумно втягивая носом сырой здешний воздух, пахнущий бетоном. — Легкомысленный, наверно, человек?» — и спросил:

— Молодой?

— Кто? — Счетовод в фуфайке задрал голову, глядя на приежжего снизу вверх.

— Заведующий.

— За тридцать. Грамотный. Дело знает. На хорошем счету.

— Та-а-а... Тут к вам арабские стенки поступали, какжется?

— К нам всякие стенки поступают, товарищ Зорин.

— Имею в виду арабские, с музыкой которые.

— Сколь работаю здесь, с музыкой мебели не поступало. Может, я вас не совсем правильно понял?

— Вы меня правильно поняли. Сам видел: платяной шкаф открываешь, скажем, пижаму повесить, а тут тебе — мелодия бравурная. На какую-то нашу похожа. «Не брани меня, родная», — вроде? Ну, русская народная песня такая.

— Как же! Матушка моя покойница ладно ее выводила при застолье добром, да под рюмочку рябиновой. А пижаму я не ношу — барская это привычка, пижамы носить.

- Я тоже пижаму не ношу. Как вас по бабушке-то?
— Сидоренко моя фамилия. Макар Макарович я.
— Очень приятно. Мне бы надобно точно знать насчет этих самых стенок. Можно?
— Отчего же нельзя, счас накладные погляжу. Вы здесь побудете или со мной?
— Я здесь побуду.

Бараки,— они тянулись в три ряда, шлакоблочные, с низкими шиферными крышами, огороженные дощатым забором с колючей проволокой поверху,— производили мрачноватое впечатление, и Зорин затосковал, раскаиваясь уже, что поперся сюда с утра пораньше, но тотчас же успокоил себя злорадной мыслью о том, что вислозадый блондин арабской стенки не получит, что Быков, а также егеря Васька Мясоедов останутся с носом. Ради этого стоит постараться. Потом заместитель переключился на размышления о том, зачем вислозадому блондину нужна именно арабская стенка и никакая другая? «Скорее всего из-за музыки* он на нее зарится». Представилось, как блондин созовет гостей («А жена у него ничего, Шурочка, кажется?»), как откроет дверь платяного шкафа, скособочит голову и послушает со сладкой улыбкой музыкальный стон, исходящий из ниоткуда.

— О-о! — удивятся гости.— Где отхватил?

Блондин поднимет палец тычком и ответит со значительностью:

— Уметь надо! Связи...

Чего доброго, еще и побахвалится, что недаром пьет коньяк с заместителем председателя горисполкома, на «ты» с ним. И вообще... У Зорина от таких размышлений опять, как давеча в кабинете, заходила ходуном левая нога. «Не бывать тому, хоть вы лопните все!»

Скорым шагом прибежал счетовод, он уже издали облегченно закивал, улыбаясь: есть на складе те самые арабские стенки, о которых было спрошено.

— Желаете посмотреть, где стоят?

— Желаю.

Стенки стояли на видном месте, как раз напротив застекленной конторки, где располагался заведующий складами. В конторке был небольшой канцелярский стол, несколько стульев да шкаф, заваленный бухгалтерскими фолиантами в самодельных переплетах. Здесь было темно-вато, от бетона несло костоломной сыростью. Зорин зябко поводил плечами:

— Нежарко тут у вас.

— Зимой еще ничего, зимой батареи топят, а вот по весне — ревматический климат, товарищ заместитель.

— Да-а. Так вот. Эти стенки надо спрятать воо-он туда, — Олег Владимирович показал кулаком в темное складское нутро. — И загородить их стульями, что ли. Стульев у вас много?

— Стульев — миллион.

— Стульями и загородите, да так, чтобы никто не нашел.

— Когда это сделать?

Зорин почувствовал на своем затылке горячее дыхание ненавистного блондина и решительно сказал:

— Сейчас же, немедленно! А вместо арабской мебели, поставьте сюда другие ящики, какие угодно.

— Сложно это...

— Что сложно?

— А переставить.

— Почему?

— Грузчиков уговаривать надо, я с ними не умею обращаться. Симка, тот умеет, — я нет..

— Они же на работе, грузчики?

— На работе, само собой.

— И что же?

— Дык ить они уже поставили эти ящики, так?

— Так.

— Это они обязаны: выгрузить, разгрузить, остальное

их не касаемо.— Мужичок вздохнул, глядя на большого начальника с сочувствием, и развел руками.— Позвать?

— Кого?

— А старшего.

— Зовите.

Откуда-то из-за конторки явился рябой детина, косоватый на один глаз, в драной кепке и с большим лицом малиновой красноты, встал боком, почесался, зевая. Счетовод застенчиво объяснил, какая предстоит задача, детина слушал и не слушал, вперившись в потолок, и пошел назад, пренебрежительно махнув рукой: устал я, дескать, слушать глупости ваши.

— Не в настроении! — сказал счетовод сокрушенно.— С похмелья. Они завсегда с похмелья.

— Безобразие!

— Оно, конечно, безобразие, да где их возьмешь, трезвых-то грузчиков: дефицит. Сима Чемоданов говорит: их, мол, в Красную Книгу заносить надо, как редкостных животных. Такое дело...

— А как их расшевелить?

— Пока не похмельятся, ногтем не колупнут, это уж точно.

— Безобразие!

— Оно, конечно, безобразие...

— Вы ему объяснили, кто я такой?

— Не объяснял, счас, если хотите, объясню?

— Пожалуйста.

Счетовод подался в конторку, где горела лампочка без абажура, помаячил там, за стеклами неясно, будто в текущей воде, и исчез. Зорин топтался посреди склада и впал в меланхолию от сознания своей беспомощности, ему тотчас же захотелось вернуться в кабинет, где на всякой даже мелочи лежит печать большой власти, где ковры заглушают шаги и даже телефонные звонки звучат вкрадчиво, где каждое слово имеет вес и силу закона. На неизмеримую долю мгновения причудилось вдруг заместите-

лю, что тело его уменьшается. В детстве Зорину одно время очень хотелось хоть ненадолго сделаться совсем крошечным, с муравья, например, чтобы покататься верхом на бабочке-капустнице или вызвать на смертный бой клеща, обитающего на малине. В детстве мечта не сбылась, зато теперь, кажется, сбывалась. И совсем некстати. Заместителю показалось, что побеленный потолок склада на железных балках стал удаляться в голубиную высь, стены раздвинулись, а счетовод, который возник из конторки, имеет голову величиной с пивную бочку. «Что это со мной, господи!»

— Литруху просят,— сказал счетовод, и голос его раскатился окрест, подобно грому.

— А?! — Олег Владимирович задрал голову, но с замиранием сердца обнаружил, что опять стремительно вырастает и загородил голову ладошкой, чтобы не удариться о железо наверху.

— Литруху, мол, просят.

— Вы им объяснили, кто я такой?

— Конечно. Нам, мол, один хрен: что бог, что царь, что Никита Редькин, пусть шевелится.

— Кто это пусть шевелится?

— Так вы, наверно, я уже набегался.

Зорин неаккуратно растворил рот и долго не мог произнести ни слова: горло у него заколодило, он пучил глаза, тыкал себя пальцем в грудь и протяжно мычал.

— Счас еще рано, в одиннадцать алкоголь давать начинают,— сказал виновато счетовод и вздохнул.— Коньяк — дорого, да и не пьют они коньяк-то. А другого выхода нет, товарищ Зорин. Надо бежать.

ГЛАВА 14

Аким Никифорович Бублик встал на ветру под фонарем и развернул бумажку, вырванную из тетрадки. Бумажка была сложена вчетверо. Сильно мешала картон-

ная коробка величиной с небольшой чемодан, прижатая к телу локтем. Бублик не знал еще, что лежит в коробке, это пока его не интересовало. Бумажка трепетала на ветру, но удалось прочесть следующее: «Сима! Сделай подателю сего что можешь. Привет и поклон. Твой дядя Гриша Лютиков», ниже была замысловатая подпись.

— Ну, слава те, господи! — Аким Никифорович сунул бумажку во внутренний карман пиджака, вздернул повыше картонную коробку, заторопился вдоль нешумной улицы и тут только почувствовал, что слегка пьян. «Ну, вот, как ни мучилась, померла спокойно,— думал Бублик с усладой.— Без рыжих обошлось. Без конопатых. Из кабинета погнал, жлоб! Накось выкуси: будет у меня стенка стоять, такая же точно, как у Быкова. И Быков пусть заткнется, мокрогубый. Все пусть заткнутся, а мы свое возьмем не мытьем, так катаньем, потому как рогами шевелить умеем, а как же!»

Люди навстречу попадались нечасто, ветер с посвистом цедился сквозь тополиную рощу, начинающую застенчиво зеленеть; на проезжей части, на асфальте, кувыркались обрывки газет, дальние огни качались и подмаргивали, будто там, вдали, разжигали костерки. И сама улица покачивалась, как длинный мост, подвешенный на канатах. Поскольку улица качалась и дыбилась, Бублик спотыкался, удивляясь тому, что если брать в целом, то он, можно считать, трезвый, а вот ноги слушаются плохо. В душу Акима Никифоровича, незваное, наплыло буйство, ему захотелось тотчас же стукнуть кого-нибудь по плечу и сказать, что жить в общем-то можно, если малость шевелить рогами. Навстречу как раз шел небольшого роста мужчина в кепке с длинным козырьком. Гражданин тот нес в оранжевой сётке две бутылки молока, хилый вилочек капусты и пучок лука.

— Здравствуйте! — сказал Бублик.

— Добрый вечер,— встречный товарищ не удивился тому, что его фамильярно останавливает незнакомый, он

понял издали, что блондин с коробкой под мышкой слегка хмельной и в том как раз состоянии духа, когда нужен слушатель и собеседник.

— Где давали? — Бублик показал пальцем на бутылки.

— В молочном давали.— Гражданин подергал козырек кепки и кашлянул с деликатностью. Он был не молод и не стар, как раз в том возрасте, когда умеют прощать слабости ближнего.

— Меня один вопрос мучает,— сказал Бублик.— Я вижу, что вы тот самый человек, который может на мой вопрос ответить. Почему рыжих стало меньше? Когда я учился в школе, на рыжих собаки не лаяли, потому что их было много.

— Собак?

— Рыжих! Собак было меньше.

Встречный медленно стянул кепку с головы и показал в улыбке железные зубы. Вопрос ему понравился:

— Представьте, а ведь натурально больше было рыжих! Я полагаю так. Да. Прибегну, с вашего позволения, к сравнению. Когда металл не красят и не смазывают, он покрывается ржавчиной. Согласны?

— Согласен.

— Ну, вот. Когда мы сами себя не красили и не чистили, мы слегка ржавели. Наступило благополучие, и мы не ржавеем. Рыжие появляются от худосочия, что ли... Вот вам моя версия. Вы торт несете? Так торты не носят, товарищ.

— А? Нет, не торт это. И я с вами согласен насчет рыжих. Они — как сигнал бедствия для народа, как семафор, значит: на красный свет езда запрещена. И характер у них неприятный.

— У кого, простите?

— У рыжих.

— Не совсем уверен. У меня приятель был пламенной, можно сказать, масти, а человек — милейший.

— Раз на раз не приходится.

— Оно верно. Однако всего хорошего — тороплюсь. А торт вы испортили безнадежно.

— Это не торт, — ответил Бублик уже в спину мужчине, с которым так приятно поговорилось. Было жалко, что гражданин в грузинской кепке уходит, но остановить его как-то не подвернулось предлога, сразу же возникло необоримое желание посмотреть, что содержит коробка, которую всучил в прихожей квартиры Лютикова злой старик дядя Ваня. Дядя Гриша Акима Никифоровича в итоге пожалел и написал даже записку заведующему складом некоему Симе Чемоданову, дядя Ваня же не примирился и сказал в прихожей:

— Ты — пустой малый, но подарок я тебе сделаю, так уж и быть. — И всучил коробку. Не от добра всучил, конечно, старая вешалка! Бублик свернул с тротуара и, продравшись сквозь кусты, остановился в крошечной тьме и разорвал картон, потому что нейлоновый шнур не поддался силе, вернулся под фонарь с велюровой шляпой в руке, недоумевая: почему шляпа, почему велюровая и почему размером на две или три нормальных головы? На эти загадки Бублик не нашел ответа, но шляпу не бросил на всякий случай, поплелся домой в развеселом настроении.

Настала пора сказать несколько слов про заведующего складом Симу Чемоданова, потому что, выясняется, без него в повести не обойтись.

Сима Чемоданов рос и мужал в послевоенные годы, когда средняя школа наша нажимала больше на гуманитарные науки и положительный литературный герой стоял в центре воспитательного процесса, когда молодежь не знала уроков труда, когда в моде были дискуссии о любви и дружбе и когда мы готовили только героев, летчиков, великих ученых, а о слесарях-сантехниках, к примеру, никто не помышлял. Родители Симы работали на заводе, получали хорошие деньги и всячески огораживали единственного сына от прозы жизни, руководствуясь принци-

пом: нам было трудно, пусть ему будет легче. Если вы помните, и мать Акима Бублика руководствовалась тем же принципом и весьма преуспела, вырастив орясину. Сима же Чемоданов в семнадцать лет, имея в кармане аттестат зрелости, был идеалистом чистой воды. Стоит еще отметить, что недюжинное влияние на формирование его личности, как принято выражаться, имел пример дяди Гриши Лютикова. Чемодановы жили с Лютиковым на одной лестничной площадке, и Сима, будучи мальчишкой, своими глазами видел, как дядя Гриша, молодой тогда и полный удали, положил на лопатки директора магазина за то, что тот разбазаривал тюль, как потом сосед сделался поборником справедливости в городском масштабе. Симе тоже хотелось подвига, потому он, окончив десять классов, вопреки воле родителей поступил учиться в торговый техникум, чтобы после его окончания вести аскетическую жизнь и бороться со злом на самом переднем крае. Сима был наивен, доверчив, и руководимые им торговые точки систематически подпадали под растрату. Не единожды Чемоданову грозили судом, тогда он запил горькую безоглядно и с купеческим размахом, потом без видимых причин, когда все уже считали, что он — малый конченый, остановился и после месяца ночных бдений написал лекцию-исповедь о вредоносной сути алкоголя, один экземпляр своей исповеди тотчас же направил в издательство, настоятельно рекомендуя тамошним умным товарищам напечатать книгу для широкого пользования, со вторым экземпляром стал вечерами ходить по питейным заведениям. В ресторанах Сима демонстративно заказывал чай без сахара, осматривал зал вприщур, гипнотическим взглядом, и когда на него начинали обращать внимание люди с ближайших столиков, он вставал, откашливался и читал с выражением наиболее впечатляющие куски из своей рукописи «Покаянное слово пропойцы». Ресторанная публика, известно, не любит обременять себя размышлениями о пагубности бражного веселья, поэтому сперва проповедника выводили

на улицу под локоток, потом стали толкать взашей и, наконец, побили. Швейцары вскоре уже знали Чемоданова в лицо и, как только он появлялся у раздевалки, звали по телефону милицию. Зловредный Сима втягивал милиционеров в дискуссии, демонстрируя начитанность, пытаясь убедить представителей власти, что ничего худого он не совершает и действует, если разобраться, в интересах общества. Симе не возили по отделениям в машине под названием «раковая шейка», его вытесняли на воздух и отпускали на все четыре стороны, потому что от него не пахло водкой. Если бы пахло, он сразу бы потерял львиную часть своих гражданских прав. Сима боролся последовательно и стоически, но доконало его письмо из издательства, в котором говорилось, что автор, дескать, не без способностей, но совсем неопытный и ему стоит чаще обращаться к классической русской и зарубежной, конечно, литературе. В заключение перечислялись классики. На первом месте стоял Александр Сергеевич Пушкин и дальше по порядку и рангу шли другие корифеи. Потом еще подчеркивалось, что в нашей жизни много и светлых сторон, на которые в первую очередь следует обращать внимание юноше, делающему первые шаги на литературном поприще. Чемоданову к тому моменту, когда было получено письмо, перевалило сильно за тридцать, Пушкина к тому времени он уже прочитал не единожды, выплатил несколько тысяч из своей небогатой зарплаты на погашение растрат, два раза ночевал в вытрезвителе, от него ушла жена. Сима после злополучного письма потускнел, замкнулся и прекратил всякую самостоятельную общественную деятельность. Период застоя и сомнений продолжался без перерыва целых полгода, потом Сима вдруг купил на барахолке тульскую гармошку, купил в нотном магазине самоучитель и начал разучивать пассажи на балконе вечерами, когда люди, известно, настроены отдыхать. В ЖКО, в товарищеский суд, в торг, в милицию опять посыпались жалобы: не дает, мол, этот паразит с третьего этажа пре-

даваться культурному досугу, не дает посидеть перед телевизором, гармошка его визжит и стонет, как недорезанный боров. Один пенсионер, бывший кавалерист, пытался достать гармониста с помощью спиннинга: отставной кавалерийский командир бросал в Симу старый ботинок, привязанный к леске, но поскольку со спиннингом обращаться не так-то просто (а пенсионер был из рыбаков-теоретиков), то ботинок однажды ударил по горбу возчика, доставляющего на смирном меринке кефир по детским учреждениям. Кавалерист упражнения с рыбацкой снастью оставил и лишь грозил Симе Чемоданову кулаком из своего окна. Были еще всякие мелкие вылазки, направленные против гармошки. Заведующий складом тем временем, набираясь опыта, играл все лучше и складнее. Начал он, как полагается, с простейшего, к осени уже сносно выводил популярные песни, а когда упали снега, перенес упражнения в квартиру. Зима в Сибири длинная, и музыкальное озорство улица забывала, однако ранней весной, когда еще падала капель, дверь на балконе Симы Чемоданова однажды была широко растворена, и на свет божий торжественно вышел неумный наш герой. Он улыбался, любуясь мокрой улицей и мокрыми домами, мокрыми крышами и скамейками. Деревья были похожи в ту пору на большие старые веники. Никакой отрады окрест не наблюдалось, но утомленный город сулил вскорости зарумяниться и посвежеть, потому что робко еще, но подступала весна — очистительница и обворожительница, воспетая нами на множество ладов, любимая нами и долгожданная.

Вышел, значит, однажды Сима Чемоданов на свет божий (дело было ранним утром) и вывесил вдоль окон транспарант, исписанный оранжевыми буквами и гласивший: «Товарищи! Играю по заявкам прохожих и дорогих соседей как песенную музыку, так и классическую. Стараюсь бескорыстно и от чистого сердца!» Оранжевые буквы прочитали многие жители тесной каменной окрестности

и тоже пооткрывали двери балконов исключительно ради любопытства. Представительная комиссия, составленная как из штатных работников домоуправления, так и из видных общественников квартала, просила Симу снять со стены писанину по тем сообщениям, что ее не принято вешать в частном порядке. Кладовщика увещевали на разные лады, будто мальчишку дошкольного возраста, но наткнулись на твердый отпор. Общественники говорили: «Если каждый начнет вешать, чего тогда будет?» Сима отвечал: «Веселей жить будет». Общественники опять терпеливо говорили: «Если каждый играть начнет, что тогда будет?» Сима отвечал: «Веселей жить будет. Я для людей стараюсь, настроение у людей поднять хочу, что в том плохого?» Ничего в том плохого нет, но существуют, мол, концертные залы, филармония передвижная ездит, по телевизору каждый день фугу Баха передают, всякое, даже дерьмовое кино, государственный оркестр сопровождает так громко, что уши вдавливаются, чего же еще надо? Сима отвечал: «Прошу закрыть дверь моей квартиры с той стороны, то есть с лестничной площадки, вы мне мешаете творчески работать!»

Пока обескураженные активисты думали над тем, как приструнить распоясавшегося жильца, Сима действовал. Первый концерт он дал утром, когда народ, как пишут газеты, группами и поодиночке спешил на работу. Сима зычно крикнул:

— Хорошо вам потрудиться, дорогие мои! — и растянул меха на весь разворот плеча. Для начала был исполнен «Марш энтузиастов», следом — популярная когда-то песня «Выходила на берег Катюша». Прохожие, знакомые и незнакомые, отнеслись к начинанию в общем-то благосклонно, и на исходе дня, когда конторы, фабрики и заводы начали отпускать тружеников по домам, под балконом Чемоданова собрались любопытствующие, дожидаясь, исполнит ли чокнутый малый с третьего этажа свое слово и станет ли еще музицировать? Сима слово сдержал —

выдал разнообразнейшую программу. Вечерняя часть дерзкого дебюта была принята, надо отметить, весьма и весьма тепло. Утром нас терзают заботы, утром мы спешим, а вот после трудов праведных можно и расслабиться, присмотреться, как протекает жизнь. Однообразие, понятно, утомляет. Мужчины, перехватившие по кружке-другой пивка, слушали Симу с душевностью и сочувственно рассуждали о том, что долго этот дерзкий парень не продержится: или пятнадцать суток схлопочет, или, чего доброго, три года лишения свободы за нарушение тишины. Однако эти мрачные прогнозы не оправдались — концерты собирали все более обширную аудиторию и в короткий срок завоевали непроходимую популярность, а представитель милиции, юный лейтенант, направленный однажды пресечь безобразие на корню, вернулся в отделение и доложил по инстанции, что ничего такого чрезвычайного не происходит, ничего не нарушается, инициатива же торгового работника из двадцать шестой квартиры по проезду Ворошилова имеет здоровое начало.

Вот в таком благополучном состоянии были дела заведующего складом Семена Даниловича Чемоданова (Симой его с детства звали родители, друзья), когда к нему вечером в семь часов направился Аким Никифорович Бублик, чтобы выбить арабскую стенку. Накануне перед сном жена Шурочка велела Бублику разворачиваться:

— Опять вчера навеселе явился?

— Ну, и что?!

— А ничего. Ты у меня достукаешься, я тебя за милое дело в вытрезвитель сдам.

— Она сдаст! Багаж я, что ли? Недвижимость, да?

Шурочка ничего уточнять не стала, лишь постучала пальцем по зеркалу: смотри, в последний раз предупреждаю.

— Откуда шляпу-то приволок, дурак? — Шурочка повернулась всем телом и навела в висок мужу стволы миномета, устроенного чудным образом на голове.

- Это — подарок.
- На корову, что ли, куплена?
- Не понял?
- Шляпа-то для коровы покупалась?
- Ну, хватит!
- Ты мне стенку вези, все царство небесное пропешь, губошлеп несчастный!
- Привезу, не беспокойся.
- Когда?
- Скоро. На этой неделе в общем.

...Аким Никифорович Бублик прибавил шагу. На этот раз он не имел в кармане бутылки, потому что дядя Гриша Лютиков предупредил: Сима взовьется и прогонит, поскольку — заклятый враг алкоголя как силы стихийной и истребительной. Дядя Гриша сказал: «Сима — принципиальный». Без бутылки, однако, испытывалась некоторая ущербность. Это вроде бы пойти по гостям в пижамных штанах, например, или на пляж в шубе явиться. Вполне сравнимо.

Проезд имени Ворошилова был закраинный, узкий, тесный и тихий, поэтому без малого за квартал Аким Никифорович услышал лихие песенные разливы, производимые гармонью. Посреди улицы толпился люд, Бублик, как все стоявшие на тротуаре и проезжей части, задрал голову и увидел на балконе гармониста в полосатой рубашке, напоминающей морскую тельняшку. Оригинал тот, склонившись к мехам, играл «под чинарой густой мы сидели вдвоем». Хорошо в общем-то у него получалось.

В деревянном павильоне через дорогу торговали пивом, и Бублик взял кружку, чтобы утолить жажду, заодно и сосредоточиться перед ответственной встречей: что ни говори, а шанс-то был последний. Если сегодня оступишься, то уже не встанешь. Такая вырисовывалась ситуация. Пиво было теплое и кислое. Народ, молодежь-холостежь и по-

старше товарищи толпились перед павильончиком, чувствовалось, не из-за питья, они слушали гармошку. Блондин в спортивном костюме, живущий, видать, неподалеку, сидел на ящике с надписью «не кантовать!» и, закрыв глаза, покачивался в такт музыке, разливно падающей с высоты. Блондин был в домашних тапочках, голова его на гусиной кадыкастой шее печально никла. В полном, значит, блаженстве пребывал товарищ. На Бублика тоже накатило мягкое тепло, хотелось ему вспомнить что-нибудь отрадное, этакое лирическое, но ничего такого не вспомнилось. Дюжий парень в зеленом свитере постукивал пустой кружкой по ляжке себе и кричал. Округлый живот его при том вздрагивал:

— Сима! Плясовую ба? Плясовую ба, Сима!

Гражданин на ящике вздрогнул, открыл глаза, прокашлялся и тоже закричал:

— Гля сердца что-нибудь, Сима! Гля сердца!

— Он пьяный, что ли? — спросил у парня в зеленом свитере Бублик и, привалясь к тополю, сделал ноги кренделем. Легкомысленная эта и развалистая поза демонстрировала полное пренебрежение к здешней публике.

— Сам ты пьянь! У ты вон нос красный и щеки обрюзгли, как у старого борова, — ответил парень и плюнул. — Он капли в рот не берет!

— Кто?

— А Сима. И не лечился нигде. У него — воля, у ты нет воли.

— Это почему же? — встревожился Аким Никифорович. Ему не понравилось, что у него нет воли, он пожал плечами и облизал губы языком. — Почему это ты так решил?

— Насчет чего решил?

— Насчет воли.

— По глазам вижу.

— Это как же, по глазам?

— Отстань ты, дурак! Слушать мешаешь! — парень в свитере прищурился и сказал, ни к кому не обращаясь:— Сима-то дает! Плясовую ба, плясовую сварганы!

На Бублика никто не обращал внимания, будто его не было и вовсе. Бублику же хотелось пообщаться возвышенно, даже хамские реплики зеленого свитера не стронули душевной этой возвышенности, но в круг чужака не приняли здесь, видимо, потому, что повел он себя несколько высокомерно и заметно выделялся одеждой.

ГЛАВА 15

Бублик постучал согнутым пальцем по щербатой двери. Когда постучал, прислушиваясь к толчкам своего сердца, догадался наконец, что пришел к тому самому Симе, который на данный момент дает сольный концерт. Из-за двери явственно доносились густые аккорды с перебивками. Исполнялась песня военных лет под названием «Солнце скрылось за горою». Хорошая песня — мелодичная, не в пример нынешним трясучкам. Бублик стучал сперва с деликатностью, потом начал нервничать и применил кулак. Из соседней квартиры старуха сказала с неудовольствием:

— Чего ломишься? У его, у Симки-ти, замка сроду нету, отворяй, и все.

Сима проживал в двухкомнатной малометражной квартире с так называемым совмещенным санузлом. Свою жилплощадь хозяин содержал аккуратно. В большой комнате стояли самодельные стеллажи с книгами, был еще недорогой диван и школьный письменный стол с бумагами на нем. Через отворенную форточку поддувало, и цветные занавески колыхались, выгибаясь. Аким Никифорович подал голос:

— Есть кто?

На зов выкатилась, как ртутный шарик, небольшого

росточка девушка, круглолицая, кареглазая и веснушчатая. Девушка улыбалась так широко и ясно, что Бублик невесть с чего тоже растянул рот, клоня голову в салонном поклоне.

— Вы к Симае? — спросила девчушка и наморщила гладкий лоб. Веснушки густились посреди ее лица и дальше редели, сходили на нет. Впечатление создавалось такое, будто озороватый малый походя шлепнул вострушке этой малярной кистью по носу и краска не смылась до сих пор. Бублик забыл на минуту, что ему задан вопрос и, очнувшись, помотал головой с таким видом, словно только что вынырнул из воды:

— А, да.

— Сима занят. Меня Настасьей звать. Вы посидите туточка, я сейчас стульчик вам подам.

— Благодарю покорно.

Настасья появилась из другой комнаты, волоча стул одной рукой, в другой она держала книжку в красной обложке. Бублик сел у стены, молодая хозяйка уместилась на диване, оправив юбку, и стала читать принесенную с собой книгу. Читала она недолго, оторвалась от страницы, исподлобья смущенно поглядела на Бублика:

— Вы извините, я не умею гостей занимать.

— Ничего. Вы супруга товарища Чемоданова?

Настасья покраснела и вытерла губы платочком.

— Нет. Я у него на складе практику прохожу. Учусь в техникуме.

— Ну, понятно...

— Полчаса осталось.

— Чего это, простите?

— Еще полчаса Сима играть будет — он с шести до восьми вечера играет. Людям нравится. А вам?

— В смысле?

— Нравится, как он играет?

— Да, он человек талантливый.

— Спасибо,— Настасья опять скраснела, клоня голову.— Он и на работе такой.

— Какой? — Бублик даже чуть привстал, скрипнув ботинками, исключительно ради обходительности и обольщения: эта девушка, статная и высокогрудая, ему нрави-лась, он подумал: «Дура, видать. Такой можно лапши на уши навешать».— Вы, Настасьюшка, сказали, что он и на работе такой же?

— А, он и на работе талантливый: все помнит и сотрудни-ки его уважают, даже грузчики.

— Понятно. Вы, значит, не жена ему, простите за не-скромный вопрос?

— Не,— девушка вздохнула горестно и пощипала юбку на коленях, длинные волосы льняного цвета загородили ее щеки.— Я ему говорю: женись на мне, а он не хочет — стесняется.

— Чего же это так — стесняется? — («Дура совсем или уж простая такая?»). Причем тут стеснение?

— Разница в возрасте: ему тридцать шесть, мне девят-надцать.

— Существенная разница, да. Но любовь — не картошка.

— В каком же это смысле?

— Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко. В народе так говорят.— Акиму Никифоровичу Бублику нежданно стало до слез жалко себя,— «Меня бы такая любила! Так не полюбит — рылом не вышел!» — бесприют-ного, необогретого, брошенного. Он и в самом деле чуть не заплакал и, спешно порывшись в карманах, достал платок, вытер глаза и крепко сожмурился.— Так, Настась-юшка, в народе, значит, говорят. Да.

— Вы его давно знаете, товарищ?

— Кого это?

— Чемоданова?

— Не могу похвастаться основательным знакомством, понаслышке больше, кхе, понаслышке...

Говорили они громко, потому что с балкона по-прежнему лилась рекой музыка, слышны были также отдельные выкрики на улице. Потом кто-то близко произнес хриплым голосом:

— Все, ребята! Благодарю за внимание. На сегодня хватит.

— Плясовую ба! Плясовую б, Сима!

Наступила тишина. По первости Бублик даже не заметил, что стало тихо, он все глубже вникал в переживания печального свойства — о том в основном, что его никто не любит и не жалеет. В комнату тем временем скорым шагом вошел мужчина, коренастый, в джинсовой курточке с металлическими желтыми пуговицами, которую успел надеть на балконе еще, и сел с маху на письменный стол в углу. Настасья кинулась на кухню и вынесла оттуда запотелую бутылку минеральной воды:

— Пей, Сима!

Чемоданов выпил стакан воды, тряхнул головой энергично, обеими руками огладил волосы на голове и, весело блестя зубами, спросил:

— Ну, как?

— Отлично! — сказал Аким Никифорович и опять пристал на стуле, скрипнул ботинками.

— А вы кто, извините?

— По делу к вам...

— И по какому делу вы ко мне? — Сима поглядел на Бублика пристально светлыми глазами. Лицо его возле носа тоже было слегка осыпано веснушками, и выглядел он совсем молодо. Нисколько не надо было удивляться тому, что по этому бравому кладовщику сохнут практикантки. Аким Никифорович с заискивающей поспешностью вынул из кармана записку дяди Гриши и подал ее хозяину в развернутом виде. Записка была прочитана внимательно и сурово, потом был задан странный вопрос:

— Ну и что?

— Я вас не понимаю?

— Я вас тоже.

Практикантка Настасья осторожным шагом удалилась на кухню, чтобы не присутствовать при мужском разговоре.

— Зачем вам понадобилась именно арабская стенка?— спросил Чемоданов и горестно вздохнул. Он сидел на столе вольно, побалтывая ногами, совсем как Боря Силкин, и поза заведующего несколько успокоила Бублика, придала ему смелости.

— Долго объяснять, товарищ Чемоданов. Да и не все ли вам равно?

— Оно конечно, как вас звать и величать-то? Оно, конечно, все равно, Аким Никифорович, да только в толк не возьму, как вы дядю Гришу охмурили? Стареет дядя Гриша, святая душа! Ради него только и отступлюсь от правил, где наша не пропадала! Считайте, вам крупно повезло, Аким Никифорович. Да.

В тот вечер, когда Аким Никифорович имел важную встречу с Чемодановым, он уснул дома, не дождавшись своей Шурочки, и не имел представления, когда она пришла с очередного девичника, собранного магазинными подругами. Такие девичники устраивались частенько по поводу и просто так — с устатку. Ушла Шурочка раным-рано, чтобы не слушать унылую лекцию благоверного своего о вреде пьянства и вообще легкой жизни. Бублика возмущал не столько сам образ жизни Шурочки и систематические ее выпивки (здоровья у этой бабы — на пятерых досталось), сколько то, что на вечеринки эти весьма интимного свойства последнее время не приглашали его. Он ревновал жену и завидовал тому шику, с каким устраивались питейные те сходки. Употреблялись там заморские вина и коньяки с несчетным количеством звезд, а уж о закуске и говорить нечего — все было как на дипломатиче-

ских раутах самого ответственного ранга. Только что птичьего молока на стол не выставлялось. Раза два Аким Никифорович сподобился присутствовать на вечеринках, где Шурочке отводилась не самая первая, но и не самая последняя роль, а потом по неизвестной причине — что, кстати, тоже раздражало — последовало тихое отлучение. Чем он им не потрафил? Вроде бы никому худого слова не было сказано и шуму лишнего не производилось? Анекдоты он, правда, излагал не совсем потребного свойства, но так не он один излагал... Рылом, что ли, не вышел? Скорее всего, так и есть. Реальной выгоды от мелкого снабженца чуть, а ест и пьет он вполне даже нормально. Обида на Шурочку и ее компанию затаилась нешуточная, и Бублик рассчитывал когда-нибудь с этой кодлой расквитаться.

...И утром Аким Никифорович ощущал приподнятость духа от того, что труднейшая цель достигнута, и мало-помалу родилась песенка такого содержания: «Я помру со смеха, мне рыжий — не помеха». Имелся в виду, само собой, заместитель председателя Зорин, активно препятствующий покупке арабской стенки. И музыка к песенке приложилась сама собой — сперва маршевая, потом и растяжная, на манер колыбельной. Бублик пробовал сочинять дальше про то, как он обвел рыжего вокруг пальца, но дальше не получалось, лишь единственная строчка выплывала в голове: «я помру со смеха...»

...Шурочки за прилавком не было, молоденькие продавщицы, заговорщицки улыбаясь, кивнули Акиму Никифоровичу в сторону тесной кладовой без окон, там жена и нашлась: она спала на тюках мануфактуры, а когда проснулась, долго и широко зевала. Под глазами у нее грязно расплзлись пятна от крашенных ресниц, и губная помада была размазана до уха.

— Чего тебе? — спросила Шурочка и опять принялась зевать, подвывая тонко и скорбно. Она качалась, сидя на тюках, и морщилась.

- Голова болит, опять, значит, перебрала?
- Не твоя забота, чего приперся-то?
- Деньги нужны.
- Какие еще деньги? Много ты их в дом приносишь? Твоей полочки на неделю не хватает.
- На мебель деньги нужны, на стенку, забыла, что ли?
- При последних словах Шурочка зашевелилась, вынула из сумочки, спрятанной неподалеку, зеркальце и с быстротой, на которую способны лишь женщины, привела себя в относительный порядок. Вид у нее был, конечно, несвежий, но на люди она показаться вполне могла.
- Ну, слава богу, расшевелился! Когда привезешь?
- Оплачу чек в мебельном магазине и с чеком — на склад, оттуда и привезу. Часа через два, наверно.
- Я прибегу,— сказала Шурочка.— Девочек из отдела приведу: пусть любят.
- Приводи. И полагается с тебя.
- Ладно, сегодня заслужил. А у нас история вышла. Серкова помнишь?
- Аким Никифорович никакого Серкова не помнил.
- Худой такой, главный товаровед овощной базы, да ты с ним рядом еще сидел?
- Мало ли с кем я сидел рядом! Тащи гроши, тороплюсь!
- Он вчера челюсти новые вставил, ну и обмывали — пригласил. Обмыли, а сегодня звонит: жена, мол, челюсти-то в мусоропровод кинула — осерчала, что поздно пришел и пьяный. И смех, и грех!
- Ты шевелись! — Аким Никифорович был, что называется, на коне, потому и повелевал, а Шурочка изображала покладистость и даже несколько заискивала, имея на то по крайней мере две причины: во-первых, ее вчера привезли домой на машине под утро, во-вторых, в город поступили итальянские паласы и возникала необходимость вновь потрясти мужниных стариков: пусть мощну развяжут, нечего, понимаешь, скопидомничать!

Бублику причудилось на мгновение, что где-то совсем близко сверкнула молния и следом раскатился гром. Звук был сердитый, он возник возле самого уха и расползался неохотно, будто густая грязь. Звук был черного цвета. Однако ни молнии, ни грома никто, кроме Акима Никифоровича, и слыхом не слыхивал: над городом голубело небо, асфальт на дорогах просох, и скверы занялись густой зеленью. Весенняя мокреть, не наскучив никому, миновала, и лето, как пишут газеты, робко еще, но вступало в свои права.

Молния блеснула в тот момент, когда Бублик осторожно сорвал с ящика — а ящиков всего было пять, и они загромождали всю столовую — этикетку и поднес ее к глазам, осторожно разгладив. На этикетке черным по белому было написано: «Спальный гарнитур. Курская мебельная фабрика, г. Курск».

— Это почему же Курск?! — спросил самого себя Бублик громко. Я вам покажу Курск.

С ходу подумалось: «Может, у арабов Курск тоже есть?» Сердце оборвалось и покатилося куда-то со сладкой истомой. «Обманули ведь, обмишурили!» Недаром Чемоданов торопил и все оглядывался: ты, мол, забирай свое добро и отваливай, чтоб глаза мои не глядели на тебя! Недаром торопил: боялся, что догадаюсь. И ведь не прискребешься — цена-то почти одинаковая. Облапошили!» Бублик сбежал в ванную за молотком, разбил стенку ящика, отодрал, рассыпая гвозди на пол, картонную стенку. В темноватом нутре упаковки, сквозь бумажную дрань проглядывало красное брюхо супружеской кровати с деревянной спинкой. Сомнения отпадали: у арабов Курска не имеется, да и откуда он возьмется в пустыне, где верблюды жуют колючие кактусы. «Скоро Шурка с подругами подвалит, надо смываться». Аким Никифорович опрометью кинулся из столовой, споткнулся о ковер (стоимость — шестьсот с копейками), боднул, падая, курский краснопузый диван-кровать с остатками фабричной упаковки на нем,

диван покачался раздумчиво и рухнул прямоком на тумбочку со стереофоническим проигрывателем (четыреста рублей с копейками), тумбочка всхлипнула, будто живая, и осела на одну ножку. В коридор, постанывая, Бублик выбрался на карачках, там распрямился, и как был в домашних войлочных тапочках, так и выскочил из подъезда.

...Акима Никифоровича в тот день, в пятницу, видели многие, он забрел сперва в пельменную, где давали вермут на разлив, был он и на центральном рынке — там торговали сухим вином восточные люди, потом появился в шашлычной возле вокзала. Вид у снабженца был весьма удрученный, и знакомые на всякий случай гладили его по плечу мимолетно и говорили: «Ничего, всякое бывает»...

К вечеру задождило. Дождь падал мелкий и частый. Войлочные домашние тапочки без пяток набрякли водой, стало зябко. Аким Никифорович промок и закручинился, раздумывая печально, куда приложить голову, где скоротать холостяцкую ночь, и вдруг он увидел слабый огонек над дверью столярки позади главной почты. Запах стружек, вспомнился сразу закадычный друг отца дядя Игнат. Вспомнилось, как с помощью доброго этого человека в далеком-далеком детстве мастерил самокат. Не верилось даже, что Акимка тогда был счастлив. За всю маятную жизнь однажды, пожалуй, был счастлив. Это мало, согласитесь.

Бублик свернул в узкий проулок и робко толкнул дверь столярки. Дверь отворилась легко, без скрипа, дядя Игнат повернул голову на шум, очки его блестели, скрывая глаза.

— А вот и я! — сказал Аким Никифорович не очень бодро.

Дядя Игнат пил чай из кружки, расписанной васильками, и не торопился встать навстречу, он лишь ответил ровным голосом:

— Ну, здравствуй. Самокат пришел доделать?

— Цел разве?

— Храню, как же.

— Спасибо. Я присяду, у тебя тепло.

Столяр, шаркая ногами, подался в боковушку, отгороженную от мастерской, постучал там чем-то, слышно было, как он открывал и закрывал шкафы, что-то ворочал, потом опять зашаркали его стоптанные босоножки.

— Идут года-то, дядя, а?

— Не нашел, потом найду — хламом разным завален.

— Что не нашел?

— Поделку твою.

— Ладно,— Бублик махнул рукой, изображая полное равнодушие, хотя в общем-то ему было любопытно посмотреть на свою поделку, вернуться в прошлое. Однако нам пути назад заказаны. Столяр тем временем опять сходил в закуток и вернулся с бутылкой, закупоренной пластмассовой белой пробкой.

— Пить будешь?

— Дай, если есть.

Питье было забористое — какая-то трава, настоящая спиртом, и звало к исповеди. Исповедь была некороткой, путаной и банальной: зачем я на свет народился, и отчего мне так не везет?

Дядя Игнат зелье не пил, слушал вполуха, сонно, а когда Бублик, наконец, пресекся, исчерпавшись, сказал с тяжелым вздохом:

— Ты был толстым мальчиком. Из мальчиков, даже толстых, вырастают мужчины. Ты же так и остался толстым мальчиком, вот и все. У тебя плохие родители: отец хотел, чтобы ты тотчас же сделался хорошим, а раз ты не сделался хорошим в одночасье, он от тебя отступился. Мать хотела видеть тебя богатым, а богатым ты стать не сможешь, слаб, а тоже: куда конь с копытом, туда, понимаешь, и рак с клешней! Не по тебе эти нарузки: шифоньеры и ковры. Одним-то, благополучным да удачливым, тряпки и гарнитуры легко даются, другие — воруют. Охота за вещами нынче в моде. Это все — от скудости душевной. Да.

От скудости. Тебе бы работать да детей растить с толком, а ты бежишь, язык на плечо. Куда прибежишь? А никуда не прибежишь, к тюрьме разве поближе...

— Как же мне быть теперь? — спросил Бублик и всхлипнул.

— Доделай свой самокат.

— А потом?

— Потом сколотишь еще один самокат...

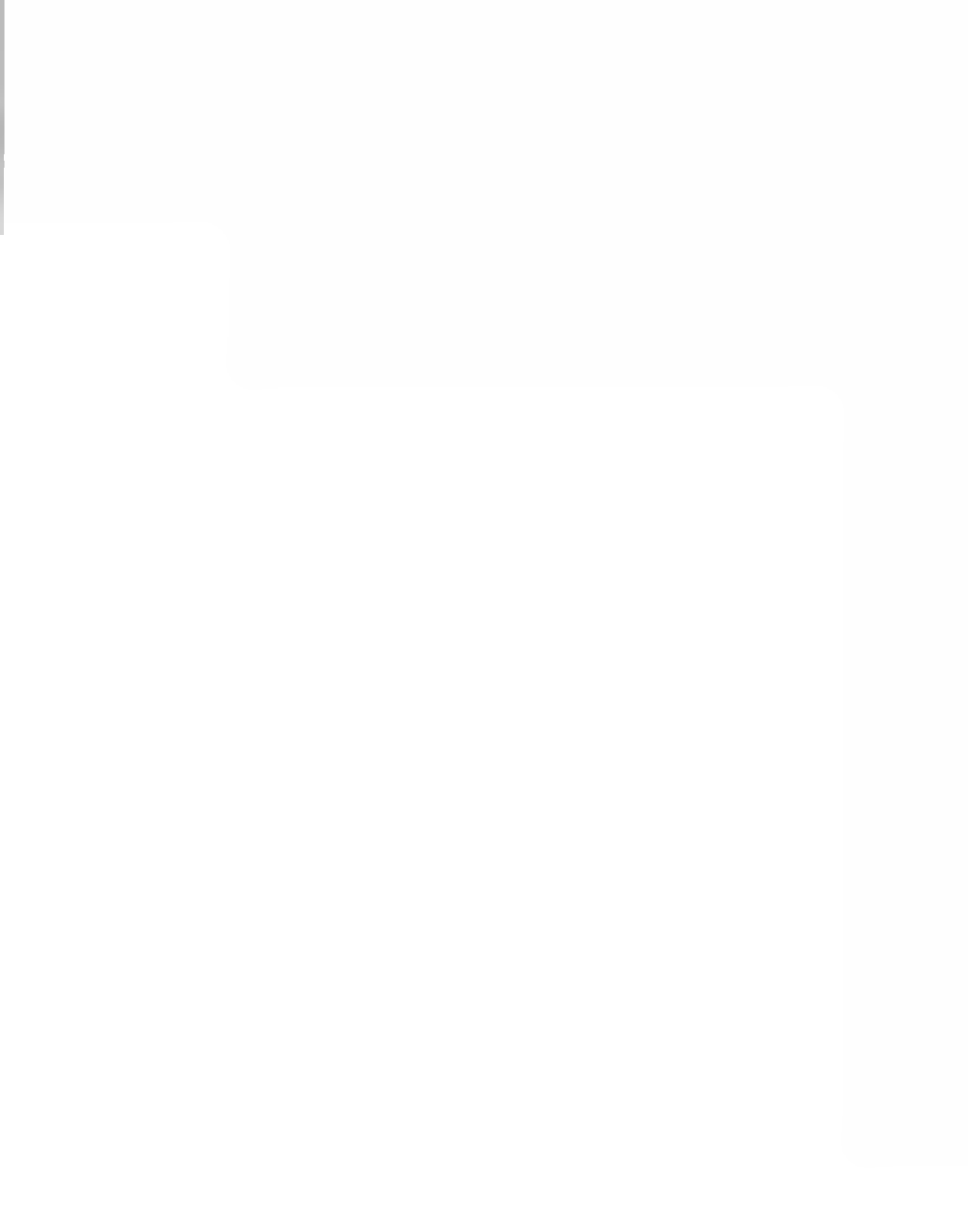
— Я же — инженер!

— Нет, толстый мальчик.

Аким Никифорович исправно являлся на работу в стоптанных босоножках дяди Игната, был тих, рассеян, строго по звонку шабашил в тресте, чтобы бежать в столярку и строгать самокаты. Что случится дальше, автор не имеет понятия. Автор склонен думать, что наш неудачник вернется в свою квартиру под конвоем жены и повезет воз свой дальше без ропота и стенаний. Скорее всего так оно и будет.

1979—1980 гг.





65 коп.



Геннадий Арсентьевич Емельянов — сибиряк по рождению; жизни и творчеству. Родился в селе Курвагино Красноярского края в 1931 году. С момента окончания Московского государственного университета (в 1959 г.) и до сего времени живет и работает в г. Новокузнецке Кемеровской области Чл. Союза писателей СССР.

Он автор книг:

Когда друзья рядом. Рассказы. 1961 [в соавторстве с Г. Немченко].

Друг Серета. Рассказы. 1964;

Глубокая борозда. Очерки. 1964;

Хочу удивляться. Повесть. 1966;

Берег правый. Роман. 1967;

Капля из моря. Рассказы о доменщиках. 1975;

Далекie города. Бабьим летом. Повести. 1979.

Запсиб — железная держава. 1979 [в соавторстве с В. Н. Колюбакиным];

В огороде баня. Повесть. 1980;

Истины на камне. Фантастическая повесть. 1982

ЦБС им. Н. В. Гоголя
г. Новокузнецк

